

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Артур Конан Дойл



ТЕНЬ
ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА



Annotation

1814 год. Звезда Наполеона Бонапарта, кажется, окончательно закатывается, и вся Англия с нетерпением ждёт известий о мире. Именно в этот момент в небольшом посёлке на границе Англии и Шотландии появляется неизвестный человек, француз по национальности, обладающий немалой суммой денег и, видимо, стремящийся скрыть какие-то тайны своего прошлого...

- [Артур Конан Дойл](#)

- [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
-

Артур Конан Дойл

**Тень великого
человека**

Глава I

Ночь, в которую горели сигнальные огни

Мне, Джеку Кольдеру, из Вест-Инча, кажется странным, что хотя теперь, в половине девятнадцатого столетия, мне только пятьдесят пять лет, и моя жена не больше одного раза в неделю вырывает у меня немножко седых волос над ухом, но я жил в такое время, когда образ мыслей и поступки людей так отличались от современных, как

будто бы я жил на другой планете, потому что, когда я хожу по своим полям, я могу видеть вдали, на Бервикской дороге, небольшие клубы белого дыма, что указывает мне на то, что по границе, отделяющей Шотландию от Англии, постоянно движется это странное, невиданное прежде, стоногое чудовище, питающееся углем и содержащее в своем чреве до тысячи человек людей. В ясный день я могу видеть, как блестит на нем медь, когда оно поворачивается в сторону близ Корримюра; а потом, когда я посмотрю после этого на море, то и там вижу точно такое же чудовище, и даже не одно, а несколько их сразу;

они оставляют за собой черный след в воздухе и белый на воде и плывут против ветра так свободно, как лосось по Твиду. Если бы мой отец увидал все это, то он онемел бы как от гнева, так и от удивления, потому что он до такой степени боялся оскорбить Творца, что никогда не шел против природы и всегда считал все новое чуть ли не богохульством. Так как лошадь создал Бог, а локомотив,двигающийся по Бирмингемской дороге — человек, то мой добрый старый отец ни за что не оставил бы седла и шпор.

Но он удивился бы еще более, когда увидал, что теперь царствуют в сердцах людей мир и благоволение, в

газетах печатают и на митингах говорят о том, что теперь не будет больше войны, разумеется, за исключением войны с чернокожими и другими подобными народами, потому что когда он умер, у нас была война, продолжавшаяся почти четверть столетия с кратким перерывом только на два года. Представьте себе это вы, которые живете теперь так мирно и спокойно! Дети, родившиеся во время войны, выросли, обросли бородой, и у них самих родились дети, а война все продолжалась. Те, которые служили в армии и бились с врагами, будучи крепкими молодыми людьми, сделались неповоротливыми

и согнулись, а война все не прекращалась и на море и на суше. Неудивительно, что люди привыкли считать такое положение вещей нормальным и думали, что мирное время — это что-то неестественное. В течение этого долгого времени мы воевали с голландцами, с испанцами, с турками, с американцами, с монтевидеанцами, так что, казалось, при этой всеобщей войне не было родственных или совсем не состоящих между собой в родстве наций, которые не были бы вовлечены в эту борьбу. Но главным образом мы воевали с французами, и великий военачальник, предводительствовавший ими, был

таким человеком, которого мы ненавидели, но в то же время боялись и восхищались им.

Его могли изображать на картинах, петь в честь его песни или представлять его самозванцем, но я скажу вам одно, — этого человека так боялись, что над всей Европой висела точно какая-то грозная туча, и было такое время, когда ночью, завидев огонь на берегу, все женщины падали ли на колени, и все мужчины хватались за свои ружья. Он всегда оставался победителем, — вот почему он и наводил на всех такой ужас. Казалось, что не он подчиняется судьбе, а она ему. А теперь мы знали, что он находится на

северном берегу; у него было сто пятьдесят тысяч человек старых солдат и суда для переправы. Но всем и каждому известно, что одна треть взрослого населения нашей родины взялась за оружие, и наш маленький одноглазый и однорукий военачальник уничтожил их флот. В Европе еще оставалась одна страна, в которой могли свободно мыслить и говорить.

На холме, около устья реки Твида, был приготовлен костер для сигнального огня, — он был сложен из бревен и смоляных бочек; я хорошо помню, как я каждую ночь напрягал зрение, вглядывался в темноту и ждал, не загорится ли костер. В то

время мне было только восемь лет, но это такой возраст, в котором ребенок понимает, что значит горе, и мне казалось, что судьба моей родины зависит от меня и от моей бдительности. И вот, как-то раз ночью, когда я смотрел таким образом, я вдруг увидел, что на сторожевом холме загорелся огонек. Это был язык пламени, ясно видный в темноте. Я помню, как я тер себе глаза, щипал себя и стучал суставами пальцев по каменному подоконнику для того, чтобы убедиться, что все это я вижу наяву. Затем пламя разгорелось сильнее, и я увидел на воде красную дрожащую полосу; я бросился из кухни к отцу с криком,

что французы переплыли канал и что при устье Твида горит сигнальный огонь. Отец разговаривал в это время с мистером Митчелль, студентом-юристом из Эдинбургского университета, и я точно теперь вижу, как он выбил золу из своей трубки об угол камина и посмотрел на меня через свои очки в роговой оправе.

— Да верно ли это, Джек? — сказал он.

— Верно, как смерть, — ответил я, задыхаясь. Протянув руку, он взял со стола лежавшую на нем Библию и, положив ее себе на колени, раскрыл, как будто намереваясь прочесть нам что-нибудь; но затем он опять закрыл ее и поспешно вышел из дома. Мы,

то есть студент-юрист и я, пошли также и шли за ним до ворот, выходящих на большую дорогу. Отсюда мы могли видеть красное пламя огромного сигнального огня и другой огонь поменьше, горевший на севере от нас, в Эйтоне. К нам пришла и мать, которая принесла два пледа, чтобы защитить нас от холода, и мы простояли тут вплоть до утра; мы говорили очень мало между собой и шепотом... По дороге проезжало теперь гораздо больше народа, чем ночью накануне, потому что многие крестьяне-собственники из нашей местности записались в бервикские полки добровольцев и теперь мчались во весь опор на

смотр. Некоторые из них перед отъездом выпили на прощанье стакан или два вина, и я не могу забыть одного из них, который промчался мимо нас на большой белой лошади, махая огромной заржавевшей саблей при лунном свете. Проезжая мимо нас, они кричали, что горит северный Бервикский сигнальный огонь и думают, что тревога идет из Эдинбургской крепости. Некоторые из всадников ехали галопом в другом направлении — это были курьеры, посланные в Эдинбург, а также сын лендлорда и мастер Клейтон, помощник шерифа, и некоторые другие. В числе прочих был один

человек прекрасного сложения, довольно полный, он ехал на саврасой лошади, и, подъехав к нашим воротам, спросил что-то насчет дороги. Он снял с головы шляпу, чтобы освежиться, и тут я увидал, что у него было длинное лицо с добрым выражением и высокий большой лоб, выступавший вперед и окаймленный прядями рыжих волос.

— Я полагаю, что это ложная тревога,- сказал он. — Может быть, я сделал бы лучше, если остался на месте; но теперь, когда я отъехал так далеко, я позавтракаю вместе с полком. — Он прищепил свою лошадь и поехал вниз по склону.

– Я хорошо его знаю, – сказал студент, указывая на него движением головы. – Он – эдинбургский адвокат и мастерски пишет стихи. Его зовут Ватт (Вальтер) Скотт.

В то время никто из нас не слышал этого имени; но это было незадолго до того, как его имя сделалось самым популярным во всей Шотландии, и мы не раз вспоминали о том, что он в эту ужасную ночь спрашивал у нас, как проехать. Но на рассвете мы совсем успокоились. Было пасмурно и холодно, и мать пошла домой, чтобы заварить нам чаю; вдруг на дороге показался кабриолет, в котором сидели доктор Хорскрофт из Эйтона

и сын его Джим. Воротник коричневого пальто доктора был поднят кверху и закрывал ему уши; он был, по-видимому, в самом мрачном настроении, потому что Джим, которому было всего только пятнадцать лет, как только поднялась тревога, сейчас же отправился в Бервик, захватив с собой новое охотничье ружье отца. Отец догонял его всю ночь, и теперь он были пленником, и сзади него торчал ствол украденного ими ружья. У него был такой же угрюмый вид, как и у его отца; он засунул руки в карманы, нахмурил брови и выпятил нижнюю губу.

— Все это ложь! — закричал

громким голосом доктор, проезжая мимо нас. — Не было никакого десанта, а между тем, все глупые люди в Шотландии шатаются по дорогам, сами не зная для чего.

Услышав такие слова, его сын, Джим, огрызнулся, а отец так ударил его по голове своим кулаком, что мальчик ударился подбородком о грудь, как будто бы он был оглушен. Мой отец покачал головой, потому что он любил Джима; но мы все пошли опять в дом, дремля и мигая глазами; теперь, когда мы узнали, что не было никакой опасности, у нас смыкались глаза, но вместе с тем было так весело на душе, как бывало со мной после этого, может быть,

только раз или два во всю жизнь.

Впрочем, все это почти не имеет никакого отношения к тому, о чем я хочу рассказать моим читателям; но когда у человека хорошая память, а умения мало, то у него к одной мысли прицепляется до дюжины других. Но, Впрочем, теперь, когда я вспоминаю обо всем случившемся, я вижу, что это имеет некоторое отношение к тому, что будет сказано дальше, потому что Джим Хорскрофт так поссорился со своим отцом, что тот отправил его в Бервикскую академию, а так как мой отец давно хотел послать меня туда же, то он и воспользовался этим случаем.

Но прежде, чем я скажу

несколько слов об этом учебном заведении, я вернусь к тому, с чего бы я должен был начать, и дам вам некоторое понятие о себе, — кто я такой, потому что моя книга может быть прочитана и людьми, живущими за пограничной областью, которые никогда не слыхали о Кольдерах из Уэст-Инча.

Уэст-Инч! Слова эти звучат очень громко, но нельзя сказать, что это — красивое имение, в котором был бы хороший дом; оно состояло только из обширного овечьего выгона с выщипанной травой, по которой свободно гулял ветер, и который местами спускался до самого морского берега; это было такое

имение, в котором человек, живущий умеренно, должен был работать не покладая рук, только для того, чтобы заплатить поземельный налог и иметь по воскресеньям масло вместо патоки. Посредине стоял серый каменный, крытый черепицей дом, позади которого находился скотный двор, а над дверной притолокой была высечена на камне цифра 1703. Здесь более ста лет жили наши родные, которые, наконец, несмотря на свою бедность, заняли видное место среди местных жителей, потому что в деревне часто старый йомен пользуется большим уважением, чем давно поселившийся лендлорд.

Наш дом в Уэст-Инче был очень

замечательным в одном отношении: землемеры и другие сведущие люди вычислили, что пограничная линия между двумя странами проходит как раз посредине его и разделяет одну из наших спален на две половины — английскую и шотландскую. А кровать, на которой я всегда спал, была поставлена так, что моя голова приходилась на север от пограничной линии, а мои ноги — на юг от нее. Мои приятели говорят, что если бы моя кровать была поставлена иначе, то у меня не было бы таких рыжих волос, и мой ум не отличался бы таким серьезным направлением. Сам же я знаю только одно, что не раз в моей жизни, когда

мой шотландский ум не мог придумать средства избавиться от опасности, меня выручали в этом случае мои здоровые, крепкие английские ноги, и они избавляли меня от беды. Но в школе мне постоянно напоминали об этом, потому что называли меня «половиной наполовину», или «Великобританией», а иногда «английским флагом». Когда происходило сражение между шотландскими и английскими мальчиками, то одна сторона била меня по ногам, а другая давала мне пощечины, а затем обе стороны переставали меня бить и хохотали, как будто бы тут было что-нибудь

смешное.

Сначала я чувствовал себя очень несчастным в Бервикской академии. Бертуйстль был у нас старшим учителем, а Адамс — младшим, но я не любил ни того, ни другого. Я был робок и вял от природы, не умел расположить к себе учителей и подружиться с мальчиками. По прямой линии, как летает ворона, от Бервика до Уэст-Инча было девять миль, а если ехать по дороге, то — одиннадцать с половиной, и я тосковал, потому что был так далеко от матери. Заметьте, что в этом возрасте мальчик говорит, будто он не нуждается в ласках матери, но как грустно делается ему, когда его

поймают на слове! Наконец, пришло такое время, когда я не мог больше выносить этого, — я решился бежать из школы и как можно скорее добраться до дома. Но в самую последнюю минуту мне удалось заслужить всеобщую похвалу и удивление всех и каждого, начиная от старшего учителя и кончая последним слугой, так что жизнь в школе сделалась для меня приятной; мне стало жить легко, и все это благодаря тому, что я случайно упал из окна второго этажа.

Вот как это случилось. Однажды вечером меня ударил ногой Нед Бертон, который был первым забиякой у нас в училище, и эта

обида в соединении с другими огорчениями переполнила чашу моих страданий. В эту ночь я, спрятав под одеяло мое заплаканное лицо, поклялся, что на следующее утро буду находиться если не в Уэст-Инче, то на дороге к нему. Наш дортуар был в бельэтаже, но я отлично умел лазить, и на большой высоте у меня не кружилась голова. Хотя я был еще очень юным, но в Уэст-Инче мне ничего не стоило, привязав себе к бедру веревку, спускаться вниз с вершины крыши, которая была на высоте тридцати пяти футов от земли. Поэтому мне нечего было бояться, что я не выберусь из дортуара Бертуистля. Я ждал, пока

ученики перестали кашлять и ворочаться на своих постелях, и это ожидание показалось мне очень долгим; наконец, все заснули на деревянных кроватях, которые стояли длинным рядом; тогда я потихоньку встал с постели, кое-как оделся, взял сапоги в руку и подошел на цыпочках к окну. Отворив окно, я выглянул из него. Подо мной был сад и близко ко мне толстый сук груши, который я мог достать рукой. Для ловкого мальчика это могло служить самой лучшей лестницей. Если бы я попал в сад, то мне нужно было только перелезть через стену, имевшую пять футов вышины, а затем меня отделяло бы от дома одно только

расстояние. Крепко ухватившись одной рукой за сук, я уперся коленом в другой, и уже совсем хотел вылезть из окна, как вдруг я остановился и как будто окаменел. Из-за стены на меня смотрело какое-то лицо. Я был поражен страхом, увидев, до чего оно бледно и неподвижно. Оно было освещено луной, и глаза его медленно двигались, озираясь вокруг, но я был скрыт от них листвой грушевого дерева. Затем это бледное лицо поднялось вверх, точно его что-нибудь подтолкнуло и, наконец, показались шея, плечи, и колени мужчины. Сев на стену, он с большим усилием поднял вверх вслед за собой какого-то мальчика, одинакового со

мною роста, который от времени до времени тяжело вздыхал, как будто бы стараясь подавить рыдание. Мужчина потряс его и сказал ему шепотом несколько грубых слов, после чего оба они спустились со стены в сад. Я все стоял на весу, поставив одну ногу на сук, а другую на подоконник, не смея пошевелиться, так как боялся привлечь к себе их внимание, потому что я мог слышать, как они шли, крадучись, в тени, отбрасываемой на далекое пространство домов. Вдруг я услышал прямо у себя под ногами какое-то царапанье и затем резкий звон падающего стекла.

— Готово, — сказал мужчина

шепотом и скороговоркой. – Теперь для тебя довольно места.

– Но края с острыми зубцами! – воскликнул мальчик слабым дрожащим голосом.

Мужчина так выругался, что меня продрал мороз по коже.

– Полезай, щенок, – заворчал он, – не то...

Я не мог видеть, что он сделал, но вслед за тем вдруг слышался крик от боли.

– Полезу! Полезу! – закричал маленький мальчик.

Но больше я уже ничего не слышал, потому что у меня вдруг закружилась голова, и моя пятка соскользнула с сука. Я испустил

ужасный крик и упал всей тяжестью моего тела, в котором было девяносто пять фунтов веса, прямо на согнутую спину вора. Если вы спросите меня, почему я так сделал, то я отвечу вам, что я сам до настоящего времени не знаю хорошенько, было ли это простой случайностью или же я сделал так с умыслом. Весьма возможно, что в то время, когда я намеревался поступить таким образом, случай устроил для меня это дело. Вор выставил вперед голову и наклонился, стараясь пропихнуть мальчика в маленькое окошко, и в это самое время я упал на него, на то место, где шея соединяется со

спинным хребтом. Он издал какой-то свист, упал ничком и покатился по траве, повернувшись три раза и стуча пятками. Его маленький спутник пустился бежать со всех ног при лунном свете и в один миг перелез через стену. Что же касается меня, то я сидел на земле, кричал благим матом и тер рукою одну из ног: я чувствовал, что она у меня как будто бы стянута раскаленным докрасна кольцом.

Само собою разумеется, что в самом скором времени в сад пришли все живущие в доме, начиная с главного учителя и кончая последним конюхом, с лампами и фонарями. Дело вскоре объяснилось;

вора положили на ставень и унесли из сада; меня же с большой торжественностью отнесли в особенную спальню, где кость ноги вправил мне хирург Пэрди, младший из двух братьев, носивших эту фамилию. Что касается вора, то нашли, что у него отнялись ноги, и доктора не могли сказать утвердительно, будет ли он владеть ими или нет. Но закон не стал ждать их окончательного решения, потому что через шесть недель после Карлейльской сессии он был повешен. Оказалось, что это был самый отчаянный преступник в Северной Англии, потому что он совершил три убийства, и за ним

было столько преступлений, что его стоило бы повесить не один раз, а десять.

Рассказывая вам о моем отрочестве, я не мог не упомянуть об этом случае, так как в то время он был самым важным событием в моей жизни. Но теперь я уже не буду более отклоняться от главного предмета, потому что когда я подумаю обо всем, что нужно мне сказать, я вижу ясно, что мне придется очень много говорить, прежде чем я кончу: когда человек рассказывает только о своей частной жизни, то и это отнимает у него все его время; но когда он принимал участие в таких важных событиях, о которых я буду говорить,

то ему очень трудно изложить все так, как бы он желал, особенно если он к этому не привык. Но, слава Богу, у меня все такая же хорошая память, какой она была и раньше, и я постараюсь рассказать решительно обо всем прежде, чем дойду до конца. По случаю этого дела с вором я подружился с Джимом Хорскрофтом, сыном доктора. Он с самого первого дня поступления в школу был самым смелым в драках, потому что не прошло и часа после того, как он приехал сюда, как он перебросил Бертонa, который до него считался самым сильным из учеников, через большую черную доску в классе. Джим всегда

отличался сильно развитыми мускулами и широкой костью, и даже в то время он был широкоплечим и высокого роста мальчиком, много не разговаривал, давал волю рукам и очень любил стоять, прислонясь своей широкой спиной к стене, с руками, глубоко засунутыми в карманы панталон. Я даже помню, что он ради шутки держал во рту сбоку соломинку, именно так, как впоследствии он держал трубку. У Джима остались те же самые хорошие и дурные наклонности, какие были и в то время, когда я в первый раз познакомился с ним. Господи! Каким героем он казался нам тогда! Мы были не больше, как

маленькие дикари, и, подобно дикарям, чувствовали уважение к силе. Был у нас Том Карндель из Аппльбоя, который мог писать алкаические стихи так же легко, как будто бы это были только пентаметры и гекзаметры, но никто из учеников не обращал на Тома ни малейшего внимания. Был еще Уилли Ирншо, который знал решительно все года, начиная с убиения Авеля, так что к нему обращались даже учителя, если они были в сомнении, но у этого мальчика была узкая грудь, и хотя он был высок ростом, но не широк костью. И что же, разве помогло ему знание годов, когда Джек Симоне из младшего отделения

класса гнал его по всему коридору ремнем с пряжкой на конце? С Джимом Хорскрофтом этого делать было нельзя. Какие рассказы о его силе передавали мы друг другу шепотом! Как он проломил кулаком филенку дубовой двери в рекреационной зале, как в то время, когда «Долговязый Мерридю» унес мяч, он схватил Мерридю с мячом, поднял его вверх и, минуя всех противников, быстро добежал до цели. Нам казалось ни с чем не сообразным, чтобы такой человек, как он, стал ломать себе голову из-за каких-то там спондеев и дактилей, или непременно знал, кто подписал Великую Хартию. Когда он сказал

при всем классе, что ее подписал король Альфред, то мы, маленькие, подумали, что, по всей вероятности, так и было и что, может быть, Джим знает об этом лучше, чем тот, кто написал учебник. Ну, так вот, этот случай с вором и обратил на меня его внимание, потому что он погладил меня по голове и сказал, что я — храбрый маленький чертенок, и я по крайней мере неделю не слышал под собой ног от гордости. Целых два года мы были с ним очень дружны и, хотя в сердцах, или не подумав, он делал многие вещи, которые меня раздражали, но я любил его как брата, и так плакал, что слез набралось бы с целый чернильный

пузырек, когда он ушел от нас в Эдинбург, чтобы изучить профессиональное дело своего отца. Я после него пробыл еще пять лет в заведении Бертуистля и перед выходом сам сделался самым сильным учеником, потому что я был таким твердым и крепким, как китовый ус, хотя, что касается до веса и развития мускулов, то я уступал в этом отношении моему знаменитому предшественнику. Я вышел из учебного заведения Бертуистля в год юбилея и после того три года прожил дома, занимаясь скотоводством. Но корабли на море и сухопутные армии все еще сражались, и на нашу страну падала

грозная тень Бонапарта. Мог ли я
знать, что и мне также придется
принять участие в том, чтобы тень
эта перестала пугать наш народ?

Глава II

Кузина Эдди из Айемауса

За несколько лет до рассказанных мною происшествий, когда я был еще маленьким мальчиком, к нам приехала погостить недель на пять единственная дочь брата моего отца. Уилли Кольдер, поселившийся в Айемаусе, плел рыбачьи сети и этим плетением добывал больше, чем мы в Уэст-Инче, где рос вереск и была песчаная почва. Так вот, его дочь,

Эди Кольдер, приехала к нам в хорошеньком красном платице и шляпке, которая стоила пять шиллингов, с чемоданом, наполненным такими вещами, на которые моя дорогая мать смотрела с большим удивлением. Нам казалось странным, что она тратит так много денег, будучи еще совсем девочкой, что она отдала извозчику столько, сколько он с нее запросил, и прибавила ему еще два пенса, хотя он и не требовал этого. Она так пила имбирное пиво, как мы воду, и непременно требовала, чтобы в чай ей клали сахару, а с хлебом подавали масло, точно она была англичанкой.

В то время я не обращал

большого внимания на девочек, потому что не понимал, на что они могут быть годны. В учебном заведении Бертуйстля никто из нас не придавал им большого значения; но, должно быть, самые маленькие из учеников были умнее, потому что, когда они сделались старше, они начали думать несколько иначе. Мы, малыши, все были одинакового о них мнения: какая может быть польза от такого существа, которое не может драться, постоянно сплетничает, а если запустить камнем, то руки у него трясутся, точно тряпка, колеблемая ветром? А потом они напускают на себя такую важность, точно это отец и мать в одном лице,

потому что всегда мешают играть, говоря: «Джимми, у тебя виден палец из сапога», или: «Ступай домой, грязный мальчишка и умойся», – так что на них делается противно смотреть.

Поэтому, когда вышеупомянутая девочка поселилась в Уэст-Инче, мне было не особенно приятно на нее смотреть. В то время мне исполнилось двенадцать лет (это было на праздник), а ей – одиннадцать; она была худенькой девочкой довольно большого роста с черными глазами и очень смешными манерами. Она смотрела всегда вперед с разинутым ртом, как будто видела что-то удивительное; но когда

я становился позади нее и смотрел в ту же сторону, куда глядела и она, то не мог увидеть ничего, кроме корыта для водопоя овец, или навозной кучи, или же нижнего белья отца, висящего на жерди для просушки. А потом, если она видела часть поля, поросшего вереском или папоротником, или какие-нибудь самые обыкновенные вещи в этом же роде, то начинала сентиментальничать, как будто бы это поразило ее, и кричала: «Как это мило! Как чудесно!» — как будто бы это была нарисованная картина. Она не любила никаких игр, и, несмотря на это, я заставлял ее играть в пятнашки и в другие игры в этом же

роде; но с ней было совсем не весело играть, потому что я мог поймать ее в три прыжка, а ей никогда не удавалось поймать меня, хотя, когда она бежала, то так махала руками и производила такой шум, какого не было бы от десяти мальчиков. Когда я говорил, что она ни на что не годна и что отец ее делает глупо, что воспитывает ее таким образом, то она начинала плакать и говорила, что я — грубый мальчик и что она нынче же вечером уедет домой и во всю жизнь не простит мне такой обиды. Но через пять минут она совершенно забывала обо всем этом. Странно, что она любила меня больше, чем я ее, и никогда не оставляла меня в

покое, но следила за мной по пятам и потом говорила: «А, так вот ты где!», как будто бы это казалось ей удивительным. Но вскоре я увидел, что в ней было кое-что и хорошее, она иногда давала мне пенни, так что однажды у меня в кармане сразу очутилось четыре пенса. Но всего лучше было то, что она умела рассказывать разные истории. Так как она страшно боялась лягушек, то я обыкновенно приносил лягушку и говорил, что засуну ей лягушку за платье, если она не расскажет мне какой-нибудь истории. Это всегда производило такое действие, что она начинала рассказывать; но ей стоило только начать, а потом надо было

удивляться, как она рассказывала дальше. У меня захватывало дух, когда я слушал рассказы о том, что с ней случилось. В Айемаус приезжал какой-то варварийский пират, который опять придет через пять лет на корабле, наполненном золотом, и женится на ней; а потом там был также и какой-то странствующий рыцарь, который дал ей кольцо и сказал, что выкупит его, когда придет время. Она показывала мне кольцо, очень похожее на те кольца, которые были пришиты к пологу моей кровати, но она сказала, что это кольцо было из чистого золота. Я спрашивал у нее, что же сделает рыцарь, если он встретится с

варварийским пиратом, и она говорила мне в ответ, что он снесет ему с плеч голову. Я никак не мог понять, что такое могли видеть в ней все эти люди. И тогда она говорила мне, что ее провожал в Уэст-Инч какой-то переодетый принц. Я спросил у нее, почему же она узнала, что это был принц, и она отвечала: «Потому, что он был переодет». В другой раз она сказала, что ее отец придумывает загадку, и когда он ее придумает, то напечатает в газетах, и тот, кто ее отгадает, получит половину его состояния и руку его дочери. Я сказал на это, что хорошо умею отгадывать загадки, и что она должна прислать ее мне, когда она

будет придумана. Она сказала, что загадка эта будет напечатана в «Бервикской газете» и пожелала узнать, что я сделаю с ней, когда получу ее руку. Я ответил на это, что продам ее с аукциона за столько, сколько за нее дадут; но в этот вечер она не хотела больше ничего рассказывать мне, потому что была чем-то очень обижена.

В то время, когда жила у нас кузина Эди, Джима Хорскрофта не было дома, но он вернулся на той же самой неделе, когда она от нас уехала, и я помню, что я очень удивился, когда он стал расспрашивать о девочке и интересовался ею. Он спросил у

меня, хороша ли она собою, а когда я сказал, что я этого не заметил, то он засмеялся, назвал меня кротом и сказал, что придет такое время, когда у меня откроются глаза. Но вскоре он заинтересовался совсем другим, а что касается до меня, то я и не вспоминал об Эди до тех пор, пока она не взяла в свои руки мою жизнь и стала вертеть ею так, как я верчу это перо.

Это было в 1813 году, после того, как я вышел из школы, когда мне исполнилось восемнадцать лет, на моей верхней губе уже показалось волосков с сорок, и была надежда, что их вырастет еще больше. Когда я вышел из школы, то со мной

произошла перемена: игры уже не занимали меня так, как прежде, но вместо этого я лежал на освещенных солнцем склонах холмов, разинув рот и смотря во все глаза, совершенно так, как это делала прежде кузина Эди. Прежде меня вполне удовлетворяло то, что я мог бегать скорее и прыгать выше, чем мой сосед на школьной лавке, и это наполняло всю мою жизнь; но теперь это казалось мне таким ничтожным; я все о чем-то грустил и грустил, смотря вверх на высокий небесный свод и вниз на поверхность синего моря, и чувствовал, что мне чего-то недостает, но не мог выразить, чего именно. И, кроме того, я сделался

также вспыльчивым, потому что у меня, по-видимому, были расстроены нервы, и когда моя мать спрашивала у меня, что такое со мной, или отец говорил, что мне нужно заняться делом, я отвечал на это так резко, что и сам впоследствии сожалел об этом. Ах! У человека может быть не одна жена, он может иметь несколько человек детей, но у него никогда не будет другой матери, и поэтому пусть он обращается с ней нежно, пока может.

Однажды, когда я вернулся домой от овец, я увидел, что отец сидит с письмом в руке, что у нас случилось очень редко, разве только в таких случаях, когда фактор писал о

том, что следует платить поземельный налог. Затем, когда я подошел поближе к нему, я увидал, что он плачет. Я стоял и смотрел на него во все глаза: я всегда думал, что мужчине не следует этого делать. Я представляю его себе в таком виде и теперь, потому что на его загорелой щеке была тонкая глубокая морщина, через которую не могла перелиться слеза, и она поэтому должна была течь вкось к его уху и оттуда падала на лист бумаги.

Около него сидела мать и гладила его руки так, как гладила по спине кошку, когда хотела ее успокоить.

— Да, Дженни, — сказал он, — не

стало бедного Уилли. Это письмо от его поверенного. Смерть была внезапная, а иначе нас известили бы раньше. Он пишет, что у него был карбункул и кровоизлияние в мозг.

— Ах, теперь все его страдания прекратились, — сказала мать.

Отец обтер себе уши постланною на стол скатертью.

— То, что он скопил, он оставил своей дочери, — сказал он, — и, право же, если только она не переменилась, то она скорехонько все истратит. Ты помнишь, что она говорила о слабом чае, когда жила у нас, а ведь он стоит семь шиллингов фунт.

Мать покачала головой и

посмотрела вверх на окорока ветчины, висевшие с потолка.

— Он не пишет, сколько именно оставил покойный, но только говорит, что ей хватит с избытком. Он пишет также, что она приедет сюда, и будет жить с нами, потому что таково его предсмертное желание.

— Она должна платить за свое содержание! — закричала резким тоном мать. В то время меня огорчило то, что она заговорила в такое время о деньгах, но если бы она не позаботилась об этом, то через год мы были бы выброшены на большую дорогу.

— Да, она будет платить и

приедет к нам сегодня же. Послушай, Джек, сын мой, поезжай-ка ты в Эйтон и дождись там вечернего дилижанса. В нем приедет твоя кузина Эди, и ты привезешь ее в Уэст-Инч.

Когда на часах было четверть шестого, я поехал вместе с Соутером Джонни, стариком пятидесяти одного года, носившим длинные волосы, в нашей телеге, у которой был недавно выкрашен задок и в которой мы ездили только по праздникам. Омнибус приехал в одно время со мною, и я, глупый деревенский парень, не принимая в расчет того, что прошло уже несколько лет, искал в толпе,

стоявшей перед постоялым двором, худенькую девочку, у которой юбочка была немного ниже колен. Когда я толкался тут и вытягивал шею, как журавль, меня вдруг кто-то тронул за локоть, и я увидел, что какая-то дама вся в черном стоит на подножке; я узнал, что это и была моя кузина Эди. Я узнал, говорю, но если бы она меня не тронула, то я прошел бы мимо нее двадцать раз и все-таки не узнал бы ее. Честное слово, если бы Джим Хорскрофт спросил у меня теперь, хорошенькая она или нет, то я сумел бы ответить ему! Она была смуглая, гораздо смуглее девушек в нашей пограничной области, с легким румянцем, пробивающимся

сквозь смуглый цвет, подобно более яркой окраске в нижней части лепестков желтой розы. У нее были пунцовые губы, выражавшие доброту и твердость; и затем я сейчас же заметил тот плутовской и насмешливый взгляд, который таился в глубине ее больших черных глаз, показываясь на минуту и затем опять скрываясь. Она обошла со мной так, как будто бы я достался ей по наследству, протянула мне свою руку и этим ободрила меня. Она была, как я уже сказал, в черном; платье на ней было какого-то удивительного фасона, черная вуаль откинута назад.

— Ах, Джек, — сказала она, жеманясь на английский манер, чему

она научилась в пансионе. — Нет, нет, мы теперь уже не маленькие, — эти последние слова она сказала потому, что я самым неуклюжим образом приблизил к ней мое глупое загорелое лицо для того, чтобы поцеловать ее, как я сделал тогда, когда виделся с ней последний раз. — Влезьте поскорее наверх, голубчик, и дайте шиллинг кондуктору, потому что он был необыкновенно учтив со мной всю дорогу.

Я покраснел до ушей, потому что у меня в кармане была только одна четырехпенсовая серебряная монета. Никогда я не ощущал так сильно недостаток денег, как в эту минуту. Но она сразу поняла, в чем

дело, и мигом всунула мне в руку маленький кожаный кошелек с серебряным замочком. Я заплатил кондуктору и хотел отдать ей ее кошелек назад, но она пожелала, чтобы он остался у меня.

— Вы будете моим кассиром, Джек, — сказала она со смехом. — Это ваш экипаж? Какой он смешной! Где же мне сесть?

— На сиденье, — отвечал я.

— А как же мне добраться до него?

— Поставьте ногу на ступицу колеса, я вам помогу.

Я вскочил в телегу и взял в свою руку обе ее маленькие ручки в перчатках. Когда она поднялась

наверх с одной стороны телеги, то я почувствовал на своем лице ее дыхание, приятное и теплое, и казалось, что все, что было смутного и беспокойного у меня на душе, отлетело от нее в одну минуту. Я почувствовал, что в эту одну минуту я стал совсем другим человеком и сделался мужчиной.

Может быть, лошадь успела только махнуть хвостом — времени прошло не больше, — а между тем, со мной что-то произошло, где-то упала какая-то преграда, и я зажил новой более широкой жизнью и стал опытнее. Все это я ощутил в один миг, но так как я был робок и необщителен, то только оправил для

нее сиденье. Она следила глазами за дилижансом, который, гремя колесами, поехал назад в Бервик, и вдруг начала махать платком.

— Он снял шляпу, — сказала она. — Должно быть, он — офицер. Он очень изящен на вид. Может быть, вы его заметили? Это — тот джентльмен, который занимал место в империале, очень красивый собой, в коричневом пальто.

Я покачал головой, и сильная радость уступила место глупой злобе.

— Ах, я уже никогда не увижу его опять! Вот эти зеленые склоны холмов и серая выющаяся лентой дорога, — все это в таком же виде, как

было и прежде. Что же касается до вас, Джек, то я не вижу в вас большой перемены. Кажется, только манеры у вас стали получше. Ведь вы уже не будете теперь пускать мне за спину лягушек, не будете? У меня сделалась дрожь при одной только мысли об этом.

— Мы сделаем все, что только можем, чтобы вам жилось хорошо в Уэст-Инче, — сказал я, помахивая бичом.

— Вы такие добрые, право, что приняли к себе бедную, одинокую девушку, — сказала она.

— Это — любезность с вашей стороны, что вы едете к нам, кузина Эди, — проговорил я, заикаясь. — Но я

боюсь, что вам покажется у нас скучно.

— Я думаю, что у вас мало развлечений, Джек, не правда ли? Кажется, у вас немного соседей — мужчин, как мне помнится?

— Да, вот, майор Эллиот, который живет в Корримюре. Он иногда приходит к нам по вечерам. Это — бравый старый служака, который был ранен пулей в колено, когда служил под начальством Веллингтона.

— Ах, когда я говорю о мужчинах, Джек, это вовсе не значит, что я говорю о стариках, раненных в колено. Я говорю о людях нашего с вами возраста, с которыми можно

было бы познакомиться. Да, кстати, — кажется, у этого старого ворчуна доктора был сын?

— О, да. Это — Джим Хорскрофт, мой закадычный друг.

— А что, он живет дома?

— Нет, но скоро вернется домой. Теперь он все еще в Эдинбурге, — он там учится.

— Ну, так мы будем проводить время вместе, до тех пор, пока он не вернется. Но я очень устала и желала бы поскорее доехать до Уэст-Инча.

Я заставил старого Соустера Джонни ехать с такой быстротой, с какой он никогда не ездил прежде, и через час после этого разговора она уже сидела за ужином, и мать моя

поставила на стол не только масло, но даже хрустальную тарелку с вареньем из крыжовника, и тарелка эта блестела и казалась очень красивою при свете свечи.

Я видел, что и родители мои, также, как я, были поражены происшедшей с ней переменой, хотя у них это выражалось иначе

Моя мать была так озадачена тем, что у нее на шее было надето что-то из перьев, что она называла ее не просто Эди, а мисс Кольдер, так что, наконец, моя кузина, у которой были. Такие милые, грациозные манеры, стала поднимать кверху свой указательный пальчик всякий раз, когда она делала это. После ужина,

когда она пошла спать, мои родители больше ни о чем не говорили, как только о том, какой у нее вид и как она воспитана.

— Впрочем, надо сказать, — заметил мой отец, — что-то не видно, чтобы она особенно горевала о смерти моего брата.

И только тут я вспомнил, что она не сказала об этом ни слова во все время с тех пор, как я с ней встретился.

Глава III

Тень на море

В скором времени кузина Эди сделалась у нас, в Уэст-Инче, королевой, а мы все, начиная с отца — ее покорными подданными. Когда моя мать сказала, что ее содержание обойдется не дороже четырех шиллингов в неделю, то Эди, по своей доброй воле, назначила плату в семь шиллингов и шесть пенсов. Ей отдали комнату, выходящую на юг, где было всего больше солнца и окно

обвито жимолостью; и надо было только любоваться теми вещами, которые она привезла из Бервика, чтобы поставить в нее. Она ездила туда два раза в неделю, но наша телега не годилась для нее, а потому она нанимала двухколесный фаэтон у Энгуса Уайтгеда, ферма которого находилась за холмом. И она почти всякий раз привозила подарок которому-нибудь из нас: или деревянную трубку отцу, или шотландский плед матери, или какую-нибудь книгу мне, или же медный ошейник для Роба – нашей овчарки. Кажется, не было на свете женщины щедрее ее.

Но самым лучшим подарком для

нас было ее присутствие. Благодаря ему самый ландшафт принял для меня иной вид: с того дня, как она приехала, солнце светило ярче, склоны холма казались зеленее и воздух приятнее. Наша жизнь уже не была однообразною как прежде, потому что мы проводили время в обществе такой девушки, какой была она, и старый мрачный серый дом казался мне совсем другим местом с тех пор, как она прошла по циновке, лежавшей у входной двери. Не лицо ее, хотя оно было привлекательным, и не фигура, хотя я не видывал другой такой девушки, которая могла бы сравняться с ней по фигуре, но ее ум, ее оригинальное обращение, в

котором проглядывала насмешка, ее новая для нас манера говорить, гордо везти за собой шлейф и вскидывать кверху голову, — вот что производило то, что всякий чувствовал себя как бы землею, по которой она ходила, а затем ее быстрый вызывающий на откровенность взгляд и сказанное ею доброе слово делали то, что человек опять становился на один уровень с нею. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он стоял на одном с нею уровне. Мне всегда казалось, что она стоит выше меня, и ушла вперед от меня. Я мог убеждать самого себя, бранить себя и делать, что мне угодно, но не мог заставить себя думать, что в наших жилах течет одна и та же кровь, и что

она была только деревенской девушкой, так же, как и я был только деревенским парнем. Чем больше я любил ее, тем больше я ее боялся, и она могла заметить, что я боюсь ее, раньше, чем увидала мою любовь к ней. Когда я был не с ней, то находился в тревожном состоянии, а когда я был с ней, то дрожал все время, потому что боялся, как бы своими нескладными речами не надоесть ей, или чем-нибудь не оскорбить ее. Если бы я лучше знал женщин, то не стал бы так мучиться этим.

— Вы очень переменились, Джек, и стали совсем не таким, как прежде, — сказала она, искоса поглядывая на

меня из-под своих черных ресниц.

— А когда мы с вами встретились, то вы сказали, что я не очень переменился, — заметил я.

— Ах! Тогда я говорила о том, что вы не очень переменились на вид, а теперь говорю о вашей манере держать себя. Прежде вы обращались со мной так грубо, так повелительно, все хотели сделать по-своему, вы были точно маленький мужчина. Я помню вас с вашими всклокоченными волосами и плутовскими глазами. А теперь вы такой кроткий, такой скромный и говорите так тихо.

— С годами человек привыкает держать себя, как следует, — сказал я.

— Ах, да, но я скажу вам, Джек, что в прежнем виде вы нравились мне гораздо больше, чем теперь

И когда она говорила это, я смотрел на нее с удивлением: я думал, что она не может мне простить того, как я обращался с ней. Я решительно не мог понять, кому это могло нравиться, — разве только кому-нибудь из сумасшедшего дома. Я вспомнил, что когда она читала, сидя у входной двери, я отправлялся, бывало, в степь с хлыстом из орешника, на конце которого было шесть маленьких глиняных шариков, и бросал в нее этими шариками так, что доводил ее до слез. А потом я вспомнил еще, как я поймал угря в

ручейке, в Корримюре, и с ним гонялся за ней, и, наконец, она с криком прибежала к моей матери и спряталась под ее фартук, обезумев от страха, а отец, ударив меня по уху веселкой для похлебки, сшиб меня с ног, и я вместе с угрем покатился под кухонный шкаф для посуды. И вот этого-то ей теперь и не доставало. Ну, так в настоящее время она этого никогда не увидит, потому что у меня скорее отсохнет рука, чем я стану делать это теперь. Но только теперь я стал понимать эту странность в характере женщины, а также то, что мужчина не должен рассуждать о женщине, но только наблюдать и стараться понять ее.

Через несколько времени у нас с ней установились известные отношения, когда она увидела, что может делать, что ей угодно и как угодно, и что она может поманить меня к себе и позвать, точно так же, как я мог распоряжаться старым Робом. Вы подумаете, я был глуп, что позволил вскружить себе голову? Может быть, я и действительно был глуп, но при этом вы должны вспомнить, что я совсем не видал женщин, и теперь нам часто приходилось быть вместе. Кроме того, она была одна из миллиона женщин, а я скажу вам, что нужно было иметь очень крепкую голову для того, чтобы она не вскружила ее.

Да вот хоть бы майор Эллиот, человек, который схоронил трех жен и участвовал в двенадцати настоящих сражениях, так и его Эди могла обвернуть кругом своего пальчика точно мокрую тряпку, — она, девушка, только что вышедшая из пансиона, где была полной пансионеркой. Я встретил его, когда он шел, прихрамывая, из Уэст-Инча в первый раз после того, как она приехала, с румянцем на щеках и блестящими глазами, так что казался лет на десять моложе. Он поднимал кверху свои седые усы и закручивал их до самых глаз и так гордо выступал своей здоровой ногой, точно музыкант, играющий на духовом

инструменте. Бог знает, что она сказала ему, но только ее слова подействовали на его кровь точно старое вино.

— Я пришел к тебе, парень, — сказал он, — но теперь мне нужно опять идти домой. Впрочем, я приходил не задаром, потому что имел возможность увидеть *la belle cousine*. Прелестная и очаровательная молодая особа, скажу тебе, парень.

Он выражался очень правильно и точно и любил иногда ввернуть в свою речь какое-нибудь французское слово, потому что в бытность свою на полуострове он немножко научился этому языку. Он так все и продолжал бы говорить о кухне Эди,

но я увидал, что у него из кармана торчит уголок газеты, и понял, что он, по своему обыкновению, приходил к нам затем, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости, потому что мы, живя в Уэст-Инче, почти ни о чем не слыхали.

— Что новенького, майор? — спросил я.

Он вытащил из кармана газету и помахал ею.

— Союзники одержали большую победу, сын мой. Я думаю, что Нэп (Наполеон) не может долго сопротивляться. Саксонцы оттеснили его, и он был совершенно разбит при Лейпциге. Веллингтон перешел Пиринеи, и полки Грагэма

будут скоро в Болонье.

Я подбросил вверх свою шляпу.

— Значит, война прекратится, наконец, — воскликнул я

— Да и пора, — сказал он, покачивая головой с серьезным видом. — Это была кровопролитная война. Ну, теперь уже не стоит говорить о том, какой план был у меня в голове относительно тебя.

— Какой же это план?

— Да вот какой, мой милый: у тебя тут нет настоящего дела, а так как теперь у меня колено стало лучше разгибаться, то я надеялся опять поступить на службу в действующую армию. Я думал, что и ты мог бы пойти в солдаты и

послужить под моим начальством.

При одной мысли об этом у меня сильно забилося сердце- Да, я желал бы этого! – воскликнул я.

– Но ведь пройдет не меньше шести месяцев, прежде чем я буду в состоянии сесть на корабль, а почему знать, может быть, Бони (Бонапарт) будет где-нибудь в заточении раньше, чем пройдет это время.

– А что скажет моя мать? – спросил я. – Я думаю, что она меня ни за что не отпустит.

– Ах, да теперь ее совсем не нужно об этом спрашивать, – ответил он и пошел, прихрамывая, своей дорогой.

Я сел на землю среди вереска и,

подперев подбородок рукой, начал думать об этом, смотря вслед майору, который шел впереди в своем старом коричневом платье и сером пледе, конец которого развевался по ветру на его плече, выбирая место, где было удобнее идти вверх по холму. Здесь, в Уэст-Инче, где я буду жить до тех пор, пока не займу место отца, — жалкая жизнь: перед моими глазами вечно будут та же степь, один и тот же ручей, все те же овцы и все тот же серый дом. Но там, за синим морем, ах! там настоящая жизнь для мужчины. Вот майор, — он человек не молодой, раненый и растративший свои силы, но и он думает о том, чтобы опять поступить

на службу, а я, человек молодой и в полной силе, трачу понапрасну время на склонах этих холмов.

Яркий румянец стыда залил мне лицо, и я вскочил с места, горя нетерпением уехать поскорее отсюда и жить на свете так, как следует мужчине. Я все думал и раздумывал об этом целых два дня, и вот на третий день случилось нечто такое, что сначала заставило меня сразу решиться, но потом от этого же самого принятое мною решение рассеялось точно дым в воздухе.

После полудня я пошел погулять с кузиной Эди и Робом, и мы дошли до такого места, где кончается склон холма, а дальше идет морской берег.

То было позднею осенью, и вереск завял и принял бронзовый цвет, но солнце все еще светило ярко, было тепло, и по временам дул теплый южный ветерок, от которого широкая поверхность синего моря покрывалась рябью с белыми волнистыми линиями. Я нарвал папоротников для того, чтобы Эди могла лечь, и вот она лежала тут, как и всегда, с беспечным видом, веселая и довольная, потому что я не встречал другого такого человека, который так наслаждался бы теплотой и светом, как она; я присел на кучку травы, а Роб положил мне на колени свою голову, и когда мы сидели тут спокойно, совершенно

одни в этом диком месте, даже и тут мы увидели на воде перед собой тень того великого находившегося за морем человека, который красными буквами начертал свое имя на карте Европы.

По морю плыл по ветру степенный черный старый купеческий корабль, направлявшийся, по всему вероятно, в Лит. У него были длинные реи, и он шел на всех парусах. В другом направлении, с северо-востока, шли два больших неуклюжих, похожих на люгеры, судна, каждое с высокою мачтой и большим четырехугольным серым парусом. Что могло быть прекраснее этого зрелища, когда три

судна плыли по морю в такую прекрасную погоду! Но вдруг на одном из люгеров показались огонь от выстрела и клуб синего дыма и то же самое на другом, а с корабля слышалась пушечная пальба. В один миг ад заменил собою рай и здесь, на воде, проявили себя ненависть, жестокосердие и жажда крови.

Когда слышались выстрелы, мы вскочили на ноги, и Эди, которая дрожала, как осинный лист, положила свою руку на мою.

— Они сражаются, Джек, — воскликнула она. — Что это за люди? Кто они?

У меня сердце сильно билось

при пушечных выстрелах, и я, задыхаясь, мог сказать ей в ответ только следующее:

— Это два французских капера, Эди. Французы называют их *chasse-marées*, а это один из наших купеческих кораблей, и они возьмут его — это верно, как смерть; потому что, майор говорил, на них всегда бывают пушки большого калибра и так много матросов, как сельдей в бочонке. Отчего этот глупый корабль не плывет назад к бару при устье Твида?

Но корабль и не думал спускаться ни одного паруса — он, тяжело погружаясь в воду, продолжал плыть дальше, что было глупо с его

стороны, и вдруг маленькое черное ядро ударило в верхний конец его бизань-реи, и чудесный старый флаг сразу упал вниз. Затем последовали выстрелы из его небольших пушек и громкая пальба из больших каронад с кормы флюгера. Через минуту все три судна сошлись вместе, и купеческий корабль метался, подобно оленю, в бедра которого вцепились зубами два волка. Все три судна слились в одно черное пятно с неясными очертаниями, окутанное дымом, в котором торчали, точно щетина, мачты, а из середины этого облака беспрестанно выскакивали красные огоньки; шла такая страшная пальба из пушек большого и мелкого

калибра, что и после у меня в течение нескольких недель стоял в ушах какой-то гул. Битый час это облако, содержащее в себе целый ад, медленно двигалось по воде, а мы с замиранием сердца не спускали глаз с флага, стараясь разглядеть, все ли он на своем месте. И вдруг корабль, такой же гордый, черный и высокий, как и прежде, поплыл опять своим путем; а когда рассеялся дым, то мы увидали, что один из люгеров тащился по воде точно утка с подбитыми крыльями, а с другого люгера экипаж спешил переехать в шлюпки прежде, чем он затонет.

В продолжение этого часа я ничего не видал и не слышал, кроме

битвы. У меня снесло ветром шляпу с головы, но я этого и не заметил. Теперь с сердцем, преисполненным радости, я повернулся к моей кухне Эди, и увидел ее такою, какой она была шесть лет тому назад. У нее были такие же выражающие удивление и пристально смотрящие на один предмет глаза и разинутый рот, как и тогда, когда она была еще девочкой, и она так крепко сжала в кулаки свои маленькие ручки, что кости суставов были похожи на слоновую кость.

— Ах, этот капитан! — сказала она, обращаясь к степи и к вереску. — Вот это сильный и решительный мужчина! Какая женщина не стала

бы гордиться таким мужем!

— Да, он храбро сражался! — воскликнул я с восторгом.

Она посмотрела на меня так, как будто бы совсем позабыла о моем присутствии.

— Я отдала бы целый год жизни за то, чтобы встретить такого человека, — сказала она. — Но вот что значит жить в Деревне. Тут только и видишь таких людей, которые не способны на что-нибудь лучшее.

Я не могу сказать наверняка, что она хотела обидеть меня, хотя за этим у нее, бывало, дело не станет; но каково бы то ни было ее намерение, ее слова задели меня за живое.

– Очень хорошо, кузина Эди, – сказал я, стараясь говорить спокойным тоном. – Этим все сказано. Сегодня же вечером я отправлюсь в Бервик и запишусь в вольноопределяющиеся.

– Как, Джек! Вы будете солдатом?

– Да, если вы думаете, что всякий, кто живет в деревне – трус.

– О, вы будете очень красивы в красном мундире, Джек, и вы делаетесь гораздо лучше, когда выходите из себя. Я желаю, чтобы у вас так сверкали глаза, потому что это придает вам прекрасный и мужественный вид. Но я уверена, что вы шутите, когда говорите, что

поступите на военную службу.

— Вот я вам покажу, шучу я или нет.

И после этих слов я побежал со всех ног по степи и вбежал в кухню, где мой отец и мать сидели по обе стороны печи.

— Мать, — крикнул я, — я иду записываться в солдаты!

Если бы я сказал, что я хочу сделаться вором, то они посмотрели бы на это точно такими же глазами, потому что в те времена из среды скромных и кротких деревенских жителей только паршивые овцы собирались в одно стадо сержантом. Но, честное слово, эти самые паршивые овцы оказали своей

родине не одну важную услугу. Моя мать подняла руки в митенках к глазам, а отец почернел, как торф.

— Это что такое, Джек? Да ты с ума сошел? — сказал отец.

— Сошел я с ума или нет, но только я уйду.

— А когда так, я не дам тебе благословения.

— Ну, так я уйду и без него!

При этих словах моя мать вскрикнула и ухватила меня руками за шею. Я увидал ее руки, загрубелые, исхудалые и костлявые от работы, которую ей приходилось делать для того, чтобы вырастить меня, и это подействовало на меня сильнее всяких слов. Мое сердце

было полно нежного чувства к ней, но моя воля была тверда, как камень. Я посадил ее опять на стул, поцеловал и потом побежал в свою комнату, чтобы собрать свои вещи. Становилось уже темно, а мне нужно было идти далеко, поэтому, связав кое-что в узелок, я поспешил выйти из дома. Когда я выходил через черную дверь, кто-то притронулся к моему плечу: в темноте стояла Эди.

— Глупый мальчик, — сказала она, — неужели же вы и в самом деле уйдете?

— Уйду ли я? Вы это увидите.

— Но ведь ваш отец не желает этого, да и мать тоже.

— Я это знаю.

— Так зачем же вы уходите?

— Вам-то, кажется, это следовало бы знать.

— Скажите, зачем?

— Потому что вы меня заставляете!

— Я не хочу, чтобы вы уходили, Джек.

— Вы сами сказали это. Вы сказали, что те, кто живет в деревне, не способны на что-нибудь хорошее. Вы всегда так говорите. Вы думаете обо мне столько же, сколько о голубях в голубятне. Вы считаете меня совершенным ничтожеством. Я вам докажу, что я не таков.

Я высказал в своей речи все, что меня огорчало, короткими,

прочувственными фразами. Когда я говорил, то она покраснела и посмотрела на меня по своему обыкновению, своим странным, наполовину насмешливым и наполовину сердитым взглядом.

— О, я думаю о вас так мало? — спросила она. — И по этой причине вы уходите из дома? Когда так, Джек, то останетесь ли вы, если я... если я буду ласкова с вами?

Мы стояли лицом к лицу, очень близко один от другого, и в одну минуту дело было сделано. Я схватил ее в объятия и целовал ее, целовал без конца, целовал ее рот, щеки, глаза, прижимал ее к своему сердцу и шептал ей, что она была для меня

всем на свете, и что я не мог жить без нее. Она ничего не говорила, но прошло немало времени прежде, чем она отвернула от меня свое лицо, и когда она оттолкнула меня от себя, то сделала это не очень сильно.

— Да, вы сделались опять таким же грубым и дерзким, каким были прежде, — сказала она, приглаживая себе обеими руками волосы. — Вы на мне все смяли, Джек; я никогда не думала, что вы такой смелый!

Но теперь я уже совсем не боялся ее, и во мне кипела кровь от любви, которая сделалась в десять раз горячее, чем прежде. Я взял ее опять в свои объятия и целовал, как будто бы имел на это право.

— Теперь вы моя, — кричал я. — Я не пойду в Бервик, но останусь здесь и женюсь на вас.

Но когда я сказал, что женюсь на ней, она засмеялась.

— Глупый мальчик! Глупый мальчик! — сказала она, и затем, когда я опять попытался обнять ее, она сделала грациозный реверанс и убежала в комнаты.

Глава IV

Выбор Джима

И вслед за этим наступили те десять недель, которые были похожи на сон, они представляются мне сном и теперь, когда я вспоминаю о них. Я могу наскучить вам, если стану рассказывать о том, что происходило между нами; но какое глубокое, какое важное и решающее значение имело для меня все это в то время! Ее своеволие, ее постоянно меняющееся настроение, то веселое,

то мрачное, как луг, над которым проходят облака, ее беспричинный гнев и сейчас же вслед за тем раскаяние, — все это то наполняло мою душу радостью, то огорчало меня; в этом была вся моя жизнь, все остальное не имело для меня никакого значения Но, каковы бы ни были мои чувства, я ощущал в глубине сердца какую-то тревогу, в которой и сам не отдавал себе отчета, какой-то страх: мне казалось, что я похож на того человека, который хочет схватить радугу, и что настоящая Эди Кольдер, хотя она и была близка, на самом деле находилась на недостижимом для меня расстоянии. Это потому, что ее

было трудно понять, по крайней мере, мне, тупоумному деревенскому парню. Когда я говорил ей о моих планах на будущее, о том, что если бы мы взяли на аренду весь Корримюр, то могли бы получать не меньше ста фунтов стерлингов лишнего дохода, и тогда можно было бы устроить приемную в Уэст-Инче и красиво убраться для нее, когда мы с ней обвенчаемся, то она надувала губки и опускала глаза, как будто бы у нее не хватало терпения выслушать меня. Но, когда я предавался мечтам о том, чем я могу сделаться впоследствии, что, может быть, я отыщу такую бумагу, которая послужит доказательством того, что

я — наследник какого-нибудь лорда, или что я не поступая на службу, о чем она не хотела и слышать, окажусь знаменитым воином, и мое имя будет у всех на устах, то она делалась такой веселой, как майский день Я старался поддерживать эту иллюзию, насколько мог, и вдруг у меня вырывалось какое-нибудь несчастное слово, которое показывало, что я не более, как Джон Кольдер из Уэст-Инча, и она опять надувала губки, выказывая мне этим свое презрение И таким образом мы шли с ней вперед; она — по воздуху, а я — по земле, и что-нибудь непременно должно было разлучить нас Это случилось после Рождества,

но зима была не холодная и подморозило настолько, что можно было только безопасно ходить по торфяным болотам. Как-то раз утром, когда было довольно свежо, Эди рано ушла из дома и вернулась назад вся расстроенная.

— Что, вернулся домой ваш приятель, сын доктора, Джек? — спросила она.

— Я слышал, что его ждут.

— Ах, так, значит, это я его встретила в степи.

— Как! Вы встретили Джима Хорскрофта?

— Я уверена, что это был он. Замечательно красивый мужчина — герой, с кудрявыми черными

волосами, коротким прямым носом и серыми глазами. У него плечи, как у статуи, а что касается до роста, то, я думаю, ваша голова, Джек, будет только до булавки в его галстук

– До его уха, Эди, – сказал я с негодованием, – Да, это был Джим. Но скажите вот что: не торчала ли у него изо рта сбоку коричневая деревянная трубка?

– Да, он курил. Он был одет в серое, и у него громкий, басистый голос.

– О, о! Так вы говорили с ним! – сказал я. Она немножко покраснела, так как проговорилась.

– Я шла по такому месту, где земля была не совсем тверда, и он

сказал мне чтобы я была осторожней, — сказала она.

— Ах, должно быть, это и был мой милый старый приятель Джим, — заметил я — Он уже давно был бы доктором, если бы у него ум был так же силен, как рука. Да вот он сам, честное слово.

Я увидел его из окна в кухне и выбежал на двор со съеденной наполовину овсяной лепешкой, чтобы поздороваться с ним. Он также побежал вперед с протянутыми руками и сияющими глазами.

— Ах, Джек, — закричал он, — я так рад, что вижу тебя опять Старый друг лучше новых двух. — Но тут он

вдруг замолчал и, разинув рот, стал пристально смотреть на что-то через мое плечо. Я обернулся: в дверях стояла Эди с веселой плутовской улыбкой на лице. Как я гордился ею, да и самим собою тоже когда посмотрел на нее!

— Это — моя кузина, мисс Эди Кольдер, Джим, — сказал я.

— А вы часто гуляете до завтрака, мистер Хорскрофт? — спросила она все с той же плутовской улыбкой.

— Да, — отвечал он, пристально смотря на нее.

— И я тоже по обыкновению там, в степи, — сказала она. — Но вы не очень-то радушно принимаете вашего приятеля, Джек. Если вы не будете

его угощать, то я должна буду занять ваше место для того, чтобы поддержать честь Уэст-Инча.

Через минуту мы были вместе со стариками, и Джиму тоже налили тарелку супа; но он почти не говорил ни слова, но сидел с ложкой в руке, не спуская глаз с кузины Эди. Она все время бросала на него быстрые взгляды; мне казалось, что ее забавляла его робость и что она старалась ободрить его своими словами.

— Джек рассказывал мне, что вы учитесь для того, чтобы сделаться доктором, — сказала она — Но, должно быть, это очень трудно, и нужно много времени для того,

чтобы можно было научиться этому.

— Мне нужно много времени, — ответил печальным тоном Джим. — Но я все-таки стараюсь добиться своего.

— Ах, какой вы молодец! Вы человек настойчивый. Вы смотрите прямо в цель и идете к ней, и ничто не может вас остановить.

— Право, мне нечем похвалиться, — сказал он. — Многие из студентов, которые начали вместе со мной, уже давно вывесили свои дощечки, а вот я все еще студент.

— Вы говорите так из скромности, мистер Хорскрофт. Говорят, что самые мужественные люди всегда бывают скромными. Но

когда, наконец, вы достигнете своей цели, какая это прекрасная карьера — подавать исцеление, поднимать с одра болезни страдальцев, иметь своей единственной целью благо человечества.

Услышав такие слова, честный Джим начал вертеться на своем стуле.

— Мне кажется, что у меня совсем нет таких высоких мотивов, мисс Кольдер, — сказал он. — Я учусь для того, чтобы зарабатывать кусок хлеба и взять на себя практику моего отца. Если я одной рукой подаю исцеление, то другую протягиваю для того, чтобы получить крону.

— Какой вы откровенный и

правдивый человек! — воскликнула она. И таким образом они вели между собой разговор и дальше, причем она украшала его всевозможными добродетелями и повертывала его слова так, чтобы его выдвинуть, — хорошо знаю эту ее манеру. Он еще не успел кончить разговора, а я уже видел, что у него голова идет кругом от ее красоты и ее ласковых слов. Я был проникнут гордостью, думая о том, что он составил себе такое высокое мнение о моей родственнице

— Не правда ли, что она хороша собой, Джим? — Я не мог удержаться, чтобы не сказать этого, когда мы с ним стояли на дворе у входной двери,

и он, прежде чем идти домой, закуривал свою трубку.

– Хороша ли! – воскликнул он. – Я никогда не видал ничего подобного.

– Мы с ней скоро обвенчаемся
Трубка выпала у него изо рта, и он стоял и смотрел на меня во все глаза. Затем он поднял опять трубку и пошел домой, не говоря ни слова. Я думал, что он, может быть, вернется, но он не вернулся, и я видел, как он шел вдали вверх по склону холма, опустив голову на грудь.

Но я не мог о нем позабыть, потому что кузина Эди засыпала меня вопросами о нем, о том, каков он был мальчиком, о его силе, с

какими женщинами он был знаком: ее ничем нельзя было удовлетворить. А затем я опять услышал о нем в тот же день но только позже, причем отзывы о нем были далеко не такие лестные. Мой отец, вернувшись домой вечером, очень много говорил о бедном Джиме. После полудня он был мертвецки пьян; затем ходил на берег в Уэстгоус, чтобы драться с кулачным бойцом — цыганом, и думали, что его противник не переживет ночи. Мой отец встретил Джима на большой дороге; он был мрачен, как туча, готов был оскорбить всякого, кто проходил мимо него. «Упаси Господи! — сказал старик. — Хороша будет у него

практика, если он начнет ломать кости». Кузина Эди смеялась надо всем этим, а я смеялся потому, что смеялась она; но мне казалось, что это совсем не смешно. На третий день после этого я поднимался по холму в Корримюре по той тропинке, по которой ходят овцы, и вдруг вижу, что вниз спускается не кто иной, как сам Джим. Но это был уже не тот большой ростом, добродушный человек, который два дня тому назад ел утром суп вместе с нами. На нем не было ни воротничка, ни галстука, жилет у него был расстегнут, волосы всклокочены, а лицо все в пятнах, как у человека, который был сильно пьян накануне. В руках у него была

ясеневая палка, которой он сбивал головки дрека росшего по обе стороны тропинки.

— А, это ты, Джим! — сказал я.

Но он посмотрел на меня таким взглядом, какой я часто видел у него в школе, когда он сильно злился на что-нибудь и знал, что он виноват, но только ни за что не хотел показать этого. Он не сказал ни слова, но только быстро прошел мимо меня по узкой тропинке и, хорохорясь, пошел дальше махая своей ясеновой палкой и обивая ею кусты.

Ах, но я не сердился на него! Я был огорчен, очень огорчен этим, и больше ничего. Само собой разумеется, что я не был настолько

слеп, чтобы не видеть в чем тут дело. Он влюбился в Эди и не мог выносить того, что она будет принадлежать мне. Бедняга, разве он мог помешать этому? Может быть, и я на его месте был бы в таком же состоянии. Было такое время, когда мне показалось бы удивительным, что девушка может так вскружить голову сильному мужчине, но теперь я был опытнее в этом отношении.

Целых две недели я совсем не видал Джима Хорскрофта, и, наконец, наступил тот четверг, в который совершился переворот в моей жизни. Я проснулся в этот день рано и в радостном настроении, что случается редко, когда человек

только что откроет глаза. Накануне Эди была со мною ласковее, чем обыкновенно, и я заснул с той мыслью, что, может быть, мне удалось, наконец, схватить радугу, и что Эди без всяких иллюзий и мечтаний полюбила простодушного, грубого Джека Кольдера из Уэст-Инча. Эта мысль не выходила у меня из ума и доставила мне радость утром, — у меня в сердце точно щебетали птички. А затем я вспомнил, что если я поспешу, то еще застаю ее дома, потому что она, по своему обыкновению, уходила с восходом солнца.

Но я опоздал. Когда я подошел к двери ее комнаты, то она была

полуотворена, и в комнате никого не было. «Ну, — подумал я, — я, по крайней мере, могу встретить ее и вместе с ней вернуться домой». С вершины Корримюрского холма можно видеть все окрестности. И вот, захватив свою палку, я пошел в этом направлении. День был ясный, но холодный, и я помню, что был слышен громкий шум прибоя, хотя в наших местах в течение нескольких дней совсем не было ветра. Я шел зигзагами по крутой тропинке, дыша чистым свежим утренним воздухом и напевая вполголоса песенку до тех пор, пока не дошел, немного запыхавшись, до вереска, росшего на вершине. Посмотрев вниз на

длинный склон противоположной стороны, я увидал кузину Эди, как и ожидал этого; но я увидел и Джима Хорскрофта, который шел рядом с нею.

Они были недалеко от меня, но так заняты друг другом, что совсем меня не заметили. Она шла медленными шагами, шаловливо закинув свою грациозную головку с той манерой, которая была мне хорошо известна, отвернувшись от него и от времени до времени перекидываясь с ним словом. Он шел рядом с ней, смотря на нее сверху вниз и наклонив голову при разговоре, который, казалось, был серьезным. Затем, когда он что-то

сказал, она ласково положила свою руку на его, а он, расставив ноги, поднял ее на воздух и несколько раз поцеловал. Увидев это, я не мог ни закричать, ни двинуться с места, но стоял с сердцем, которое точно налилось свинцом, с лицом мертвеца и не спускал с них глаз. Я видел, что она положила ему руку на плечо и так охотно принимала от него поцелуи, как никогда не принимала их от меня.

После этого он опять опустил ее на землю, и я понял, что это они прощались, потому что, если бы они прошли еще шагов сто, то их можно было бы увидеть из окон верхнего этажа дома. Она пошла от него

медленными шагами, и раз или два помахала ему, а он стоял и смотрел ей вслед. Я подождал до тех пор, пока она не отошла на некоторое расстояние, и затем пошел вниз, но он был так занят, что я подошел к нему совсем близко и мог бы дотронуться до него рукой прежде, чем он заметил меня. Когда он встретился со мной глазами, то сделал попытку улыбнуться.

— Ах, Джек, — сказал он, — ты встал так рано!

— Я видел вас! — проговорил я, задыхаясь, и у меня так пересохло в горле, что я говорил так, как будто бы у меня была горловая жаба.

— Ты видел? — сказал он и

потихоньку засвистал. — Ну, ей-Богу же, Джек, меня это не огорчает. Я имел намерение прийти сегодня же в Уэст-Инч и объясниться с тобой. Может быть, так вышло даже лучше

— Хорош ты мне друг! — сказал я.

— Послушай, Джек, будь рассудителен, — сказал он, засовывая руки в карманы и покачиваясь из стороны в сторону. — Дай мне объяснить тебе, в каком положении дело. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что я не лгу. Вот как это случилось. Я встретил Эди, то есть мисс Кольдер, прежде чем пришел к вам тогда утром, и были некоторые вещи, по которым я считал ее совершенно свободной; думая, что

это действительно так, я решил, что она будет моей. Затем ты сказал, что она не свободна, но обручена с тобой, и это на некоторое время было для меня жестоким ударом. Это вывело меня из себя, я несколько дней безумствовал, и еще слава Богу, что не попал в Бервикскую тюрьму. Затем я случайно встретил ее опять — ей-Богу, Джек, это было случайно — и когда я стал говорить о тебе, она засмеялась тому, что это может быть. «Он мне только двоюродный брат, не более», — сказала она, но что же касается до того, что она будто не свободна, или ты для нее больше чем друг, то это — одна только глупая болтовня. Потому ты видишь, Джек,

что я вовсе не так виноват, как ты думал, и тем более, что она обещала дать тебе понять своим обращением, что ты ошибаешься, думая, что имеешь на нее права. Ты, вероятно, заметил, что в продолжение этих двух недель она почти ни слова не сказала с тобой. Я горько засмеялся.

— Да не дальше, как вчера вечером, — отвечал я, — она сказала мне, что я был единственным человеком на свете, которого она могла бы полюбить.

Джим Хорскрофт протянул дрожащую руку и положил ее на мое плечо, близко придвинув ко мне свое лицо, и посмотрел мне в самые глаза.

— Джек Кольдер, — сказал он, — я

знаю, что ты никогда не лгал. Уж не хочешь ли ты отплатить мне обманом за обман? Говори правду, нас никто не слышит.

— Это — святая истина, — сказал я.

Он стоял и смотрел на меня, и лицо его выражало, что в нем происходит сильная внутренняя борьба. Прошло, по крайней мере, две минуты прежде, чем он заговорил.

— Послушай, Джек, — сказал он, — эта женщина дурачит нас обоих. Слышишь ли, она дурачит нас обоих! В Уэст-Инче она любит тебя, а на склоне холма — меня, а между тем в ее дьявольском сердце нет ни

крошечки любви ни к одному из нас. Подадим друг другу руку, дружище, и проучим эту чертову девку! Но это было чересчур. Я не мог проклинать ее в своем сердце, а еще менее того — стоять и слушать, как ее прокликает другой, несмотря на то, что это был мой старый приятель.

— Не бранись! — закричал я.

— Ах, мне делается тошно от твоих коротких речей! Я буду называть ее так, как ее следует называть.

— А, так ты будешь? — сказал я, стаскивая с себя сюртук. — Послушай, Джим Хорскрофт, если ты скажешь еще что-нибудь против нее, то я вобью тебе твои слова в горло,

несмотря на то, что ты ростом с Бервикский замок. Только попробуй, и увидишь! Он спустил было с себя сюртук до локтей, но затем опять, не спеша, натянул его на себя.

— Не будь таким глупцом, Джек! — сказал он. — В человеке редко бывает четыре стоны и пять дюймов. Два старых друга не должны ссориться из-за такой... ну, хорошо, больше я ничего не скажу. Ну, ей-Богу же, она может иметь десять человек.

Я оглянулся, и она стояла тут, всего на расстоянии каких-нибудь двадцати ярдов от нас, хладнокровная, спокойная и невозмутимая, между тем как мы

разгорячились и были точно в лихорадке

— Я уже дошла почти до дома, — сказала она, — но увидела, что вы, два мальчика, о чем-то спорите между собой, вот я и вернулась опять назад, чтобы узнать, в чем тут дело.

Хоркрофт бросился вперед и схватил ее за кисть руки. Посмотрев на его лицо, она взвизгнула, но он притащил ее к тому месту, на котором стоял я.

— Ну, Джек, довольно играть с нами комедию, — сказал он. — Вот она. Не спросить ли нам у нее, которого из нас она любит? Она не может нас обмануть теперь, когда мы тут оба вместе.

— Я согласен на это, — отвечал я.

— И я тоже. Если она пойдет к тебе, то клянусь тебе, что после этого никогда и не взгляну на нее. Сделаешь ли ты то же самое и для меня?

— Да, сделаю.

— Хорошо же, слушайте, вы! Оба мы — честные люди, друзья между собой и никогда друг другу не лжем. Итак, мы знаем, какая вы двуличная. Я знаю то, что вы сказали вчера вечером. Вы слышите? Так вот, — говорите прямо и откровенно! Мы стоим тут перед вами; скажите сразу — и делу конец. Кто из нас двоих — Джек или я?

Вы, может быть, подумаете, что

эта женщина не знала, куда деться от стыда, — ничуть не бывало, — вместо этого ее глаза блеснули от удовольствия, и я могу побиться об заклад, что это была лучшая минута в ее жизни. Когда она смотрела на нас попеременно, то на того, то на другого, и лицо ее было освещено утренним солнцем, поднявшимся еще не высоко, то она еще никогда не казалась мне такой привлекательной. Я уверен, что и Джим думал то же самое, потому что он выпустил ее руку из своей, и черты его лица, выражавшие суровость, смягчились.

— Ну, Эди, который же из нас? — спросил он.

— Шалуны-мальчишки, которые

ссора из-за этого? — воскликнула она. — Кузен Джек, вы знаете, какое нежное чувство я питаю к вам.

— О, если так, то идите к нему! — сказал Хорскрофт.

— Но я не люблю никого, кроме Джима. Я никого не люблю так, как Джима.

Она прижалась к нему и положила свое лицо к нему на грудь.

— Ты видишь, Джек, — сказал он, смотря через ее плечо. Увидев это, я пошел от них в Уэст-Инч, но уже не таким человеком, каким вышел из него, а совсем другим.

Глава V

Человек, прибывший к нам из-за моря

Я не принадлежал к числу людей, которые постоянно жалуются на то, что им изменило счастье. Если дела нельзя поправить, то человек не должен больше упоминать о нем. У меня долго болело сердце; по правде сказать, если я вспомню об этом, то мне делается немножко больно и теперь, когда после всего этого прошло уже столько лет, и я живу

счастливы с женой, но я старался держать себя мужественно и, надо сказать прежде всего, что я поступил так, как обещал в этот день на склоне холма. Я был для нее братом, не больше, хотя бывали такие минуты, когда мне стоило большого труда удержать себя, потому что даже и теперь она иногда приходила ко мне со своими вкрадчивыми манерами и рассказывала о том, как груб был с ней Джим, и как она бывает счастлива, когда я с ней ласков, и это потому, что она, по своему характеру, должна была говорить именно так, а не иначе.

Но, по большей части, Джим и она были счастливы вместе. По всей

окрестности распространился слух, что они поженятся, как только он получит ученую степень, и он приезжал в Уэст-Инч четыре раза в неделю, по вечерам, чтобы побыть с ней. Мои родные были довольны этим, и я старался показать, что мне это тоже приятно.

Может быть, в первое время между нами была некоторая холодность: мы относились друг к другу уже не с тем доверием, какое бывает между старыми школьными товарищами. Но затем, когда прошло острое горе, я нашел, что он поступил честно, и по справедливости я не могу на него пожаловаться. Таким образом, мы

остались, так сказать, в дружеских отношениях; что же касается до нее, то он позабыл весь свой гнев и готов был целовать следы, оставленные ее башмаками в грязи. Мы с ним вдвоем ходили гулять далеко, и вот об одной из этих прогулок я хочу вам рассказать.

Мы прошли всю Бремстонскую степь и обошли кругом те сосны, которые защищают дом майора Эллиота от морского ветра. Это было весной, и весна в этом году наступила ранняя, а потому в конце апреля деревья уже совсем оделись листвой. Было так тепло, как в летний день, а потому нас еще более удивило то, что на лужайке перед

входной дверью в дом майора был разведен большой огонь. Горела целая половина сосны, и языки пламени поднимались вверх до окон спальни. Мы с Джимом стояли и смотрели с удивлением, но мы удивились еще больше, когда из дома вышел сам майор, с большой четвертною бутылкою в руке; за ним шла его старая сестра, которая вела у него хозяйство, и две служанки, и все они четверо начали прыгать вокруг огня. Он был смирным, кротким человеком — это было известно по всей округе, а теперь он, точно старый леший в пляске, прыгал, прихрамывая, вокруг огня и махал своей бутылкою с вином над головой.

Мы бросились бежать к нему, а когда он увидал, что мы бежим, то стал махать ею еще больше.

— Мир! — кричал он во все горло.

— Ура, друзья мои! Мир!

Услыхав эти слова, мы оба принялись так же плясать и кричать, потому что это была такая утомительная война, какой мы не помнили, и нам казалось странным, что исчезла та тень, которая долгое время угрожала нам. На самом деле нам не верилось, что это так, но майор осмеял наши сомнения.

— Да, да, это правда! — закричал он, остановившись и опустив руку. — Союзники вошли в Париж, Бони все бросил, и его народ присягнул в

верности Людовику XVIII

— А что будет с императором? — спросил я. — Поощалят ли его?

— Поговаривают о том, что его нужно отослать на остров Эльбу, так что он уже будет не в состоянии сделать какой-нибудь вред. Что касается до его военачальников, то между ними есть такие, от которых нельзя отделаться так легко. В течение последних двадцати лет были совершены такие подвиги, которых нельзя забыть. Надо бы свести кое-какие старые счета, но теперь — мир, мир!

И затем он опять принялся прыгать со своей большой бутылкой вокруг разведенного им костра.

Мы побыли некоторое время с майором и затем оба с Джимом пошли на взморье, разговаривая между собой об этом важном известии и о том, что может от него произойти. Он знал немного, а я еще меньше его, но все, что мы знали, мы сложили в одно целое, и говорили с ним о том, что теперь упадут цены, что вернутся на родину наши храбрые солдаты, что корабли могут теперь спокойно плыть, куда им нужно, что мы уничтожим на берегу все сигнальные огни, потому что теперь уже нет врага, которого мы боялись. Так болтали мы с ним, идя по гладкому твердому песку и смотря вперед на старое Северное море.

Джим и не подозревал в то время, когда он шагал рядом со мной, такой здоровый и бодрый, что достиг высшей точки в своей жизни, и что с этого часа все у него пойдет под гору.

Над морем лежал небольшой туман; ранним утром туман был густой, а теперь он разрядился от солнца. Посмотрев на море, мы вдруг увидали, что из-за тумана показался парус небольшой лодки, которая, раскачиваясь, приближалась к земле. В ней сидел только один человек, и она вертелась в разные стороны, как будто бы тот, кто сидел в ней, и сам не знал, причалить ли к берегу или нет. Наконец, может быть ободренный нашим присутствием, он

подплыл прямо к нам, и от киля лодки заскрипел песок у самых наших ног.

Он спустил парус, выскочил из лодки на землю и втащил ее корму на берег.

— Великобритания, полагаю? — спросил он, быстро повернувшись к нам и смотря нам прямо в лицо. Это был человек немного повыше среднего роста, но страшно худой. У него были пронизательные и находившиеся близко один от другого глаза, между которыми выдавался длинный острый нос, а под ним торчали, как щетина, усы каштанового цвета, жесткие и прямые, как у кошки. Он был одет

хорошо — в коричневой паре с медными пуговицами и в высоких сапогах, которые заскорузли и потеряли свой глянец от морской воды. Лицо и руки были у него смуглые, так что его можно было счесть за испанца, но когда он, кланяясь нам, снял свою шляпу, то мы увидали, что верхняя часть лба была у него совершенно белой, так что у него было смуглое лицо оттого, что оно обветрилось. Он смотрел то на одного, то на другого из нас, и в его серых глазах было что-то такое, чего я не видывал прежде. Вы могли бы прочесть в нем вопрос, но казалось, что за этим вопросом следует угроза, как будто бы отвечать

на этот вопрос следовало по праву, а не из любезности.

– Великобритания? – спросил он опять, а сам в это время нетерпеливо топал ногой по песку.

– Да, – сказал я, а Джим расхохотался.

– Англия? Шотландия?

Здесь Шотландия, а вон за теми деревьями – Англия.

– Вот! Теперь я знаю, куда я попал. Я плыл в тумане без компаса почти целых три дня и думал, что мне уже не придется опять увидеть землю.

Он говорил по-английски довольно бегло, но иногда употреблял иностранные обороты

речи.

— Откуда же вы прибыли? — спросил Джим.

— Я был на корабле, который потерпел крушение, — отвечал он коротко. — Какой это город, вон там?

— Это Бервик.

— А! Но мне нужно отдохнуть прежде, чем я отправлюсь дальше

Он повернулся и пошел к лодке, но поскользнулся и непременно упал бы, если бы не ухватился за ее нос. Затем он сел на нее и смотрел вокруг себя с покрасневшимся лицом и глазами, которые сверкали как у дикого зверя

— Voltigeurs de la Garde! — закричал он громким голосом,

похожим на звук трубы, и затем опять: — *Voltigeurs de la Garde!*

Он помахал шляпой над головой и затем, бросившись прямо лицом на песок, он лежал так, свернувшись и представляя из себя маленькую кучку коричневого цвета.

Мы с Джимом Хорскрофтом стояли и смотрели с недоумением друг на друга. Нам казалось странным и прибытие этого человека, и его вопросы, и, наконец, его неожиданная выходка. Мы взяли его за плечи и перевернули на спину. И он лежал в таком положении со своим выдающимся вперед носом и колючими усами, но губы у него были совсем белые, и от его дыхания

не пошевелилось бы даже перо.

— Он умирает, Джим, —
воскликнул я.

— Да, от голода и жажды. В лодке нет ни капли воды и ни крошки хлеба. Может быть, есть что-нибудь в этом мешке.

Он вскочил в лодку и принес оттуда черный кожаный мешок; в лодке не было ничего, кроме этого мешка, да еще широкого плаща синего цвета. Мешок был заперт, но Джим открыл его в одну минуту. Он был наполнен до половины золотыми монетами.

Ни один из нас никогда не видал столько денег, — даже десятой части этой суммы. Тут были целые сотни

монет — и все блестящие новые английские соверены. Мы так заинтересовались деньгами, что совсем позабыли о том, кому они принадлежали, но, наконец, мы услышали стон, который заставил нас вспомнить о нем. Его губы еще больше посинели, а нижняя челюсть отвалилась. Я мог видеть теперь его раскрытый рот с рядом белых зубов, похожих на зубы волка.

— Господи! Да он умирает! — воскликнул Джим. — Послушай, Джек, беги скорее к ручью и зачерпни шляпой воды. Да поскорее, а то он умрет. А я в это время раздену его.

Я пустился бежать со всех ног и

через минуту вернулся назад с таким количеством воды, какое могло уместиться в моей гленгаррийской шляпе. Джим расстегнул сюртук и рубашку у незнакомца, мы облили его водой и с трудом влили ему несколько капель в рот. Это произвело хорошее действие. Он раз или два вздохнул глубоко, приподнялся и сидел, медленно протирая себе глаза, как человек, проснувшийся от глубокого сна. Но ни Джим, ни я не смотрели ему в лицо, а обратили внимание на его обнаженную грудь. На ней были видны две глубокие впадины красного цвета со сморщившейся кожей, одна под ключицей, а другая

посередине груди ближе к правому боку. Кожа его тела, вплоть до самой загорелой шеи, была замечательно бела, и поэтому на ней еще ярче выделялись красные пятна с морщинами. Стоя над ним, я мог видеть, что в одном месте у него была такая же впадина и на спине, тогда как в другом ее не было. Хотя я был и не опытен, но я понял, что это значило. Он был ранен в грудь двумя пулями — одной навывлет, а другая так и осталась в нем.

Но вдруг он, пошатываясь, поднялся на ноги и запахнул на себе рубашку, бросив на нас быстрый подозрительный взгляд.

— Что я делал? — спросил он. — Я

сам себя не помнил. Может быть, я сказал что-нибудь, но не обращайтесь на это внимания. Что, я кричал что-нибудь?

— Да, вы закричали перед тем, как упасть.

— Что же такое я закричал?

Я передал ему его слова, хотя для меня они не имели значения. Он пристально посмотрел на нас обоих и затем пожал плечами.

— Это слова одной песни, — сказал он. — Ну, теперь вопрос в том, что мне делать? Я не думал, что у меня сделается такая слабость. Откуда вы достали воды?

Я указал ему на ручей, и он пошел, шатаясь, к берегу. Он лег

ничком и пил очень долго, — я думал, что он никогда не кончит. Он, точно лошадь, вытянул свою длинную худую шею и громко чавкал губами. Наконец, глубоко вздохнув, он поднялся на ноги и отер себе усы руками.

— Теперь мне лучше, — сказал он. — Нет ли у вас чего-нибудь поесть?

Перед уходом из дома я сунул себе в карман два куса лепешки из овсяной муки; он положил себе их в рот, разжевал и проглотил. Затем он выпрямил плечи, выпятил грудь и ладонями погладил себя по ребрам.

— Право, я чрезвычайно обязан вам, — сказал он. — Вы были очень добры к незнакомому человеку. Но я

вижу, что вы сумели открыть мой мешок.

— Когда вам сделалось дурно, то мы думали, что найдем в нем вино или водку.

— Ах! У меня в нем только небольшие — как вы называете это — деньги на черный день. Это небольшая сумма, но я могу спокойно жить на нее до тех пор, пока не найду себе какого-нибудь дела. А здесь, как мне кажется, можно жить спокойно. Я попал в самое тихое место; здесь, кажется, и жандарма встретишь только в городе

— Но вы не сказали нам, кто вы такой, откуда и какая ваша профессия, — сказал напрямик Джим.

Незнакомец смерил его с головы до ног испытующим взглядом.

— Вы годились бы в гренадеры во фланговую роту, честное слово, — сказал он. — Что же касается ваших вопросов, то я обиделся бы, если бы услышал их не от вас, а от кого-нибудь другого. Но вы имеете право узнать, что я за человек, потому что вы так радушно меня приняли. Меня зовут Бонавентур де Лапп. По профессии я солдат и путешествую; я приехал из Дюнкиркена, — название этого города вы можете видеть на лодке.

— А я думал, что вы потерпели кораблекрушение! — сказал я. Но он посмотрел мне прямо в глаза, как

честный человек.

— Это правда, — сказал он, — но корабль плыл из Дюнкиркена, и это одна из его шлюпок. Экипаж пересел в баркас, а корабль пошел ко дну так быстро, что я не успел захватить что-нибудь с собой в шлюпку. Это было в понедельник.

— А сегодня четверг. Значит, целых три дня у вас куса во рту не было?

— Да, это очень долго, — сказал он. — Раньше этого я два раза был в таком положении по два дня, но никогда так долго, как теперь. Ну, я оставлю здесь мою шлюпку и поищу себе помещение в одном из этих маленьких серых домиков на склоне

холмов. По какой причине у вас горит вон тот большой огонь?

— Там живет один из наших соседей, который служил на военной службе и сражался с французами. Он празднует нынешний день, потому что объявлено о заключении мира.

— О, так у вас есть такой сосед, который был военным! Я рад этому, потому что и я тоже участвовал в сражениях в разных местах.

У него был печальный взгляд, и он нахмурил брови над своими пронизательными глазами.

— Ведь вы — француз, не правда ли? — спросил я, когда мы все трое поднимались вверх по холму; он нес в руке свой черный мешок, а его

длинный синий плащ свешивался у него с плеча.

– Как вам сказать? Я из Эльзаса, а в Эльзасе живут скорее немцы, чем французы. Что касается меня, то я видел так много стран, что везде чувствую себя как дома. Я очень много путешествовал. Как вы думаете, где я могу найти себе помещение?

После этого события прошло целых тридцать пять лет, и теперь я не могу передать, какое впечатление произвел тогда на меня этот странный человек. Помнится, что я не доверял ему, но вместе с тем он меня обворожил, потому что в его осанке, его взгляде и в его разговоре

было что-то такое, чего я никогда не встречал прежде. Джим Хорскрофт был красив собой, а майор Эллиот — храбрый человек, но им обоим недоставало того, что было в этом путешественнике, а именно: быстрого, живого взгляда, блеска в глазах, какого-то изящества, которое нельзя выразить словами. А кроме того, мы спасли его, когда он лежал, бездыханный, на песке, а человек всегда питает нежное чувство к тому, кому он помог в беде.

— Если вы захотите пойти со мной, — сказал я, — то я могу поручиться вам за то, что найду вам место, где вы можете переночевать день или два, а в это время вы будете

иметь возможность устроиться по вашему желанию.

Сняв шляпу, он необыкновенно грациозно поклонился мне. Но Джим Хорскрофт, дернув меня за рукав, отвел в сторону.

— Ты с ума сошел, Джек, — сказал он мне на ухо. — Этот человек не больше, как искатель приключений. К чему ты связываешься с ним?

Но трудно было найти человека упрямее меня, и если бы вы вздумали меня оттолкнуть, то это было бы самое лучшее средство выдвинуть меня вперед

— Он — иностранец, — сказал я, — и помочь ему — это наша обязанность.

– Ты пожалеешь об этом, – сказал он.

– Может быть, и пожалею.

– Если ты не думаешь о себе, то должен подумать о своей кухне.

– Эди может и сама позаботиться о себе.

– Ну так, черт бы тебя побрал, делай как знаешь! – воскликнул он, вспыхнув. И не простившись с нами, он пошел по той дороге, которая вела к дому его отца.

Бонавентур де Лапп с улыбкой посмотрел на меня, когда мы с ним пошли дальше.

– Я так и думал, что не нравлюсь ему, – сказал он. – Я очень хорошо понимаю, что он поссорился

с вами из-за того, что вы ведете меня к себе в дом. Что же он думал обо мне. Он, может быть, думает, что золото у меня в мешке – крадено, или чего еще он боится?

– Молчите, я ничего не знаю и ни о чем не думаю. Мы всегда накормим странника, проходящего мимо нашего дома, и дадим ему ночлег.

Подняв кверху голову, в полной уверенности, что я делаю что-то очень хорошее и никак не думая, что к югу от Эдинбурга не найдется человека глупее меня, я гордо выступал по дороге, а рядом со мной шел и мой новый знакомый.

Глава VI

Странствующий орел

По-видимому, и мой отец был того же мнения, как и Джим Хорскрофт, потому что он не очень радушно встретил этого незнакомого гостя и очень подозрительно осмотрел его с головы до ног. Но он все-таки поставил перед ним блюдо селедок в уксусе, и я заметил, что он стал еще подозрительнее смотреть на моего спутника, когда тот съел девять селедок за раз, потому что

нам полагалось только по две селедки на каждого. Когда Бонавентур де Лапп кончил свой ужин, то у него начали слипаться глаза, потому что, по-видимому, он не только не ел, но и не спал все эти три дня. Комната, в которую я его провел, имела довольно жалкий вид но, несмотря на это, он бросился на постель и, завернувшись в свой большой синий плащ, моментально заснул. Он очень громко храпел, а так как моя комната была рядом с той, в которой он спал, то я не мог ни на минуту забыть о том, что у нас в доме находится незнакомый человек.

Когда на другой день поутру я сошел вниз, то увидел, что он встал

раньше меня, потому что он сидел напротив моего отца у стола в кухне, приставленного к окну; их головы почти соприкасались, и между ними лежал небольшой столбик золотых монет. Когда я вошел в комнату, то мой отец поднял голову кверху и посмотрел на меня, и в его глазах видна была алчность, чего я никогда не замечал у него прежде. Он поспешно схватил деньги и спрятал их в свой карман.

— Очень хорошо, мистер, — сказал он, — комната за вами, и вы всегда будете платить каждый месяц третьего числа.

— Ах, вот и мой приятель, с которым я познакомился раньше вас!

— воскликнул де Лапп и протянул мне руку с улыбкой, хотя и ласковой, но в ней чувствовалось что-то покровительственное; такая улыбка бывает у человека, когда он обращается к своей собаке. — Теперь я совсем оправился, благодаря тому, что прекрасно поужинал и хорошо спал ночью. Ах, голод отнимает у человека мужество, — главным образом, голод, а затем холод.

— Да, это правда, — сказал мой отец. — Во время метели я пробыл в степи тридцать шесть часов и знаю, что это значит.

— Я видел однажды, как три тысячи человек умерли от голода, — заметил де Лапп, протягивая руки к

огню. — Они худели день ото дня и становились все более и более похожими на обезьян; они подошли к краям понтонов, на которых мы их держали, и подняли вой от ярости и от боли. Первые дни их вой слышен был по всему городу, но через неделю наши часовые, стоявшие на берегу, уже не могли слышать их, потому что они ослабели.

— И они умерли! — воскликнул я.

— Они выдерживали очень долго. Это были австрийские гренадеры из корпуса Старовица, видные собою, крепкие люди, такого же роста, как ваш приятель, которого я видел вчера; но когда город был взят, их осталось в живых только четыреста

человек, и один человек мог поднять их троих за раз, как будто бы это были маленькие обезьянки. На них жалко было смотреть. Ах, друг мой, познакомьте меня с madame и mademoiselle.

В это время в кухню вошли моя мать и Эди. Он не видел их накануне вечером, но когда я посмотрел на него теперь, то едва удержался от смеха, потому что вместо того, чтобы просто кивнуть головой, как было принято у нас, в Шотландии, он согнул спину, как форель, которая хочет нырнуть, шаркнул ногой и пресмешно прижал руку к сердцу. Моя мать с недоумением смотрела на него: она думала, что он смеется над

ней; но кухня Эди сейчас же ответила ему тем же, точно это была какая-нибудь игра: она присела так низко, что я подумал: «Она уже теперь не может встать и прямо сядет на пол, посредине кухни». Но ничуть не бывало: она поднялась так легко, как пух, и затем мы все подвинули к столу стулья и принялись за булки с молоком и похлебку.

Надо было только дивиться тому, как этот человек умел обращаться с женщинами. Если бы мы, т.е. я и Джим Хорскрофт вели себя так, как он, то это имело бы такой вид, что мы дурачимся, и молодые девушки смеялись бы над

нами; но у него это как будто бы гармонировало с выражением лица и манерой говорить, так что, наконец, мы к этому привыкли; потому что когда он обращался к моей матери или к кузине Эди — а он охотно говорил с ними, — то всегда с поклоном и со взглядом, выражавшим, что они едва ли удостоят выслушать то, что он хочет сказать, а когда они отвечали ему, то его лицо принимало такое выражение, как будто бы всякое их слово было сокровищем, которое нужно беречь и всегда хранить в своей памяти. И, несмотря на все это, даже и тогда, когда он унижал себя перед женщинами, в его взгляде

всегда просвечивала какая-то гордость, как будто бы он хотел выразить, что это только с ними он обращается так мягко, и что при случае он может быть суровым. Что касается моей матери, то она удивительно смягчилась в своем обращении с ним и рассказала ему решительно все о своем дяде, который был доктором в Карлейле и самым видным лицом из родственников с ее стороны. Она рассказала ему также и о смерти моего брата Роба. Я никогда не слышал, чтобы она говорила об этом с кем-нибудь прежде, и мне показалось, что у него были слезы на глазах, — у него, который видел, как

умерли от голода три тысячи человек! Что касается Эди, то она говорила мало, но только время от времени поглядывала на нашего гостя, и раз или два он очень пристально посмотрел на нее. Когда он после завтрака ушел в свою комнату, то отец вынул из кармана восемь золотых монет и положил их на стол.

— Что ты думаешь об этом, Марта? — спросил он.

— Ты, должно быть, продал двух черных баранок

— Нет, это — месячная плата за помещение и стол, которую я получил от знакомого Джека, и через четыре недели мы опять получим

столько же

Но, услышав это, моя мать покачала головой.

— Два фунта стерлингов в неделю это — очень много, — сказала она, — и мы не должны бы брать такую выгодную плату за стол с этого бедного джентльмена, который находится в бедственном положении.

— Молчи! — закричал отец. — Он в состоянии заплатить такие деньги, — у него есть мешок, который наполнен золотом. А потом он сам предложил такую цену.

— Эти деньги не принесут нам добра, — сказала она.

— Да он, жена, вскружил тебе голову своей иностранной манерой

говорить! — воскликнул отец.

— Да, хорошо было бы, если бы мужчины-шотландцы немножко поучились у него ласковому обращению, — сказала она, и я в первый раз в жизни услышал, что она ему так ответила.

Вскоре после этого он сошел вниз и спросил у меня, не пойду ли я с ним погулять. Когда мы с ним шли по солнцу, то он вынул маленький крестик из красных камней. Это была такая красивая вещица, какой я еще никогда не видал.

— Это рубины, — сказал он, — и я купил этот крестик в Туделе, в Испании. Таких крестиков было у меня два, но другой я отдал одной

девушке-литвинке. Прошу вас, возьмите его от меня на память в знак моей благодарности, так как вы были очень добры ко мне вчера. Из него можно сделать булавку для галстука.

Я мог только поблагодарить его за подарок, потому что у меня еще никогда не было такой дорогой вещи.

— Я иду на верхнее пастбище считать ягнят. Может быть, и вы пойдете вместе со мной для того, чтобы посмотреть окрестности?

С минуту он был в нерешительности, но затем покачал головой.

— Мне нужно как можно скорее написать некоторые письма. Я думал,

что нынче утром мне следует остаться дома и написать их.

Я все время до полудня ходил по берегам реки, и вы можете легко представить себе, что у меня не выходил из головы этот странный человек, которого случай привел в наш дом. Где он приобрел такую осанку, такую манеру повелевать и этот надменный грозный взгляд? А как много он испытал в своей жизни, хотя не придавал этому большого значения! Надо думать, что удивительною была его жизнь, если ему пришлось переиспытать все это. Он был ласков с нами и говорил учтиво, но, несмотря на это, я не мог заглушить в себе недоверие, с

которым относился к нему. Может быть, Джим Хорскрофт был и прав, а я сделал ошибку, что привел его в Уэст-Инч.

Когда я вернулся домой, то он имел такой вид, как будто бы с малых лет привык к сидячей жизни. Он сидел у огня в деревянном кресле с черной кошкой на коленях. Расставив руки, он держал на них моток шерсти, которую моя мать проворно наматывала на клубок. Около него сидела кузина Эди, и я увидел по ее глазам, что она плакала.

– Что это значит, Эди, – сказал я.
– Что вас так огорчило?

– Ах, у *mademoiselle*, как у всех добрых и правдивых женщин, нежное

сердце, – сказал он. – Я не думал, что это так растрогает ее, а иначе я не стал бы говорить. Я рассказывал о том, какие мучения претерпевали некоторые полки, о которых я кое-что знаю, когда они переходили через горы Гвадарама зимой в 1808 году. Ах, да! Дело было очень плохо, потому что это были отличные солдаты и на прекрасных лошадях. Кажется странным, что ветер может сдуть людей к пропасти, но было так скользко, а держаться не за что. Поэтому в пехотных ротах солдаты сцепились друг с другом оружием, и это им помогло; но когда я взял одного артиллериста за руку, то она отвалилась, потому что была

отморожена три дня тому назад.

Я стоял и с удивлением смотрел на него.

— Также и старые гренадеры, которые уже не были так проворны, как прежде не могли не отставать; и если они отставали, то их ловили крестьяне, которые распинали их на дверях амбаров, ногами кверху, а под головой разводили огонь, так что жаль было смотреть на этих славных старых служак. А потому, когда они не могли идти дальше, то стоило посмотреть на то, что они делали; они 3 садились на землю и читали молитвы, кто сидел в седле, а кто на своем ранце; затем они снимали с себя сапоги и носки и опирались

подбородком на дуло ружья. После этого они нажимали большим пальцем ноги курок – паф! – и все было кончено, – этим славным старым гренадерам уже не нужно было идти дальше. О, как трудно было подниматься по этим Гвадарамским горам!

– Какая же это была армия? – спросил я.

– О, я служил во стольких армиях, что часто смешиваю их одну с другой. Да, я много раз был на войне. Кстати, я видал, как дерутся ваши шотландцы, и из них выходят очень стойкие пехотинцы, но, насмотревшись на них, я думал, что здесь все у вас носят – как вы

называете это? – юбки?

– Это коротенькие шотландские юбки (kilts), их носят только в горах.

– Ах! В горах? Но я вижу там какого-то человека. Может быть, это тот самый, про которого ваш отец говорил мне, что он отнесет мои письма на почту?

– Да, это работник фермера Цайтгеда. Отдать ему ваши письма?

– Он будет больше беречь их, если получит из ваших рук.

Он вынул письма из кармана и подал их мне. Я вышел с ними из дома и дорогой случайно взглянул на адрес того письма, которое было наверху. На конверте крупным и разборчивым почерком было

написано следующее: Его Величеству
Шведскому королю.

В Стокгольм.

Я знал очень мало по-
французски, но эти слова я понял.
Какой это орел залетел в наше
скромное маленькое гнездо?

Глава VII

Сторожевая башня в Корримюре

Мне самому показалось бы скучным, и я уверен, что наскучило бы и вам, если бы вздумал рассказывать, как шла у нас жизнь после того, как этот человек поселился у нас в доме, или о том, как он мало-помалу заслужил расположение у всех членов нашей семьи. Что касается женщин, то это было сделано им очень скоро; но вскоре он расположил в свою пользу

также и моего отца, что было совсем не легко, и приобрел расположение Джима Хорскрофта и мое. На самом деле мы были в сравнении с ним только два больших мальчика, потому что он везде побывал и все видел; и по вечерам он, говоря неправильным английским языком, заставлял нас забывать, что мы сидим в нашей простой кухне и ничего не видим, кроме маленькой фермы, и переносил нас ко дворам разных государств, в лагерь, на поля сражений, и показывал нам все чудеса, которые делаются на свете. Сначала Хорскрофт был довольно груб с ним, но де Лапп, благодаря своему такту и непринужденному

обращению, сумел поладить с ним и, наконец, совершенно покори́л его сердце; и Джим сидит, бывало, держа в своей руке руку кузины Эди, и оба они, позабыв обо всем другом, слушают то, что он нам рассказывает. Я не буду передавать вам всего этого, но даже и теперь, после того, как прошло так много лет, я могу проследить, как он, в продолжение следовавших одни за другими недель и месяцев, такими-то словами и поступками переделал нас на свой лад.

Прежде всего, он подарил моему отцу ту шлюпку, в которой он приехал, оставляя за собой право взять ее обратно в том случае, если

бы она ему понадобилась. Так как осенью в этом году сельди плыли мимо берега, а мой дядя еще при жизни подарил нам целый комплект прекрасных сетей, то, благодаря подарку незнакомца, мы получили большой доход. Иногда де Лапп отправлялся на шлюпке в море совершенно один; однажды летом он целый день плавал вдоль берега, и я видел, что он, опустив весло в воду, останавливается и бросает в море навязанный на веревку камень. Я не мог понять, для чего он это делает, пока он сам не разъяснил, мне, в чем дело.

— У меня страсть изучать все, что относится к войне, — сказал он, —

и я всегда пользуюсь удобным случаем. Я думал о том, трудно ли будет командиру какого-нибудь армейского корпуса высадить на этом берегу солдат.

— Да, если только не будет дуть восточный ветер.

— Ах! Совершенно верно, если только не будет дуть восточный ветер. А что, вы измеряли глубину моря в этом месте?

— Нет.

— Ваша линия военных кораблей должна находиться в море, но здесь довольно воды, так что сорокапушечный фрегат может подойти на расстояние ружейного выстрела. Насажайте в шлюпки

побольше стрелков, разверните их за этими песчаными холмами и затем отправляйтесь назад еще за стрелками, стреляйте картечью над их головами с фрегатов. Это может быть сделано! Это может быть сделано!

У него ошетинились усы, и он сделался еще больше похож на кошку и, судя по тому, как блестели у него глаза, я понял, что мечты унесли его далеко.

— Вы забываете, что на берегу будут наши солдаты, — сказал я с негодованием.

— Та, та, та! — воскликнул он. — Разумеется, в сражении должны быть две противные стороны. Посмотрим

теперь, давайте развивать наш план. Сколько солдат вы в состоянии выставить? Ну, скажем — двадцать, тридцать тысяч. Несколько полков хороших солдат, остальное — пуф! Новобранцы, мирные жители с оружием. Как вы называете их — волонтеры.

— Это все храбрые люди, — громко закричал я.

— О, да, очень храбрые люди, но глупые. Ах, mon dieu. Они будут невероятно глупы. Я хочу сказать, что глупы не одни они, но вообще вновь набранные войска. Они боятся того, что будут бояться и не примут никаких мер предосторожности. Ах, видал я все это! Я видел в Испании,

как батальон новобранцев бросился в атаку на батарею, на которой было десять орудий. Они бросились так храбро! И вдруг склон холма, с вершины которого я смотрел, сделался похожим... как вы называете это по-английски?.. На пирог с малиновым вареньем. Куда делся наш прекрасный батальон новобранцев? Затем другой батальон вновь набранных солдат попытался овладеть батареей; они бросились все сразу со страшным криком. Но что может сделать крик против картечи? И вот все солдаты нашего второго батальона легли на склоне холма. Затем взять батарею было приказано гвардейским пехотным

стрелкам; и в их наступлении не было ничего красивого; они шли не колонной, без всякого крика, и ни один из них не был убит; стрелки шли врассыпную, а за ними следовали кучками резервы; но через десять минут пушки замолчали, и испанские артиллеристы были изрублены в куски. Воевать нужно учиться, мой друг, точно так же, как и разводить овец.

— Ну, нет! — сказал я, не желая, чтобы меня переспорил иностранец. — Если бы у нас было тридцать человек солдат на линии вон тех холмов, то вы были бы очень рады тому, что у вас за спиной есть на море шлюпки.

— На линии холмов? — сказал он, сверкнув глазами и окинув взглядом весь их ряд. — Да если бы ваш полководец знал свое дело, то у него левый фланг был бы около того места, где стоит ваш дом, центр — в Корримюре, а правый — около дома доктора, и он выстроил бы во фронте густые ряды стрелков. Само собой разумеется, что его кавалерия старалась бы уничтожить нас по мере того, как мы выстраивались бы на берегу. Но если бы нам удалось выстроиться в порядке, то тогда мы знали бы, что делать. Тут есть слабый пункт, вон там, в незащищенном месте Я стал бы стрелять в него из пушек, затем

развернул бы мою кавалерию, пустил бы пехоту большими колоннами, и это крыло было бы уничтожено. Скажите, Джек, где были бы ваши волонтеры?

— Они шли бы по пятам за вашим арьергардом, — сказал я, причем оба мы с ним от души расхохотались, и этим обыкновенно и кончались наши споры. Когда он вел подобные разговоры, то я думал иногда, что он шутит, но в другое время я не был уверен в этом. Я хорошо помню, что летом в этом году, как-то раз вечером, когда он сидел в кухне с моим отцом, Джимом и со мной после того, как женщины ушли спать, он завел

разговор о Шотландии и о ее отношении к Англии.

— У вас прежде был свой король, и законы издавались для вас в Эдинбурге, — сказал он. — Когда вы подумаете о том, что теперь все идет из Лондона, разве это не наполняет вашу душу гневом и отчаянием?

Джим вынул изо рта свою трубку.

— Это мы поставили короля над англичанами, и если кто должен приходить от этого в гнев, так это люди, живущие по ту сторону от нашей границы.

Очевидно, иностранец не ожидал такого ответа и замолчал на минуту.

— Но ведь ваши законы составляются там, и в этом, конечно, нет ничего хорошего, — сказал он, наконец.

— Разумеется, было бы хорошо, если бы парламент собирался опять в Эдинбурге, — сказал мой отец, — но я так занят своими овцами, что у меня нет времени подумать о таких вещах.

— Это таким молодым людям, как вы двое, нужно подумать об этом, — сказал де Лапп. — Когда страну притесняют, то это дело молодежи — отомстить за нее. Да, англичане иногда слишком много позволяют себе, — сказал Джим.

— А если найдется много таких людей, которые разделяют это

мнение, то почему же не составить из них полки и не идти прямо на Лондон? – воскликнул де Лапа

– Это была бы чудесная небольшая прогулка, – сказал я со смехом. – А кто же повел бы нас?

Он вскочил с места, поклонился и, по своему смешному обыкновению, приложил руку к сердцу.

– Если вы позволите мне иметь эту честь! – воскликнул он. И затем, видя, что все мы смеемся, и сам начал также смеяться, но я уверен, что на самом деле он и не думал шутить. Я никак не мог догадаться, сколько ему лет, точно так же, как и Джим Хорскрофт. Иногда нам

казалось, что это уже пожилой человек, который моложав на вид, Его каштановые жесткие волосы, которые он носил коротко остриженными, не нужно было стричь на макушке, где они разредились, и сквозь них просвечивала плешь. Его лицо было также покрыто целою сетью пересекающихся в разных направлениях морщин и сильно загорело от солнца, как я уже упоминал о том выше. Но у него был такой гибкий стан, как у мальчика, и вместе с тем он был так крепок, как китовый ус, — он целый день бродил по холмам или плавал по морю и нисколько не уставал. Вообще, мы

полагали, что ему около сорока или сорока пяти лет, хотя трудно было поверить тому, что в таком возрасте в нем так много жизни. Однажды мы разговорились о годах, и тут он удивил нас. Я сказал, что мне только что исполнилось двадцать лет, а Джим сказал, что ему — двадцать семь.

— Значит, я самый старший из нас троих, — сказал де Лапп.

Мы засмеялись над этим: по-нашему выходило, что он почти годится нам в отцы.

— Но я немногим старше, — сказал он, подняв брови дугой. — В декабре мне исполнилось двадцать девять.

И именно это заявление, даже более, чем все его разговоры, убедило нас в том, что жизнь этого человека была незаурядная. Увидав, что мы удивились, он засмеялся.

— Я жил! Я жил! — воскликнул он. — Я тратил не понапрасну дни и ночи. Я вел вперед роту в битве, где сражались пять народов, когда мне было только четырнадцать лет. Я заставил одного короля побледнеть от слов, которые шепнул ему на ухо, когда был двадцатилетним юношей. Я участвовал в государственном перевороте и возвел нового короля на трон одного великого государства. Mon dieu! Я пожил на свете!

Это было все, что мы могли

узнать от него о его прошлой жизни, но он всегда только покачивал головой и смеялся, когда мы старались выпытать у него и еще что-нибудь. Иногда нам казалось, что это был только ловкий обманщик, потому что зачем было скитаться без дела в Бервикшире человеку с таким большим весом и с такими талантами? Но однажды произошел такой инцидент, который доказал нам, что его прошлая жизнь принадлежала истории. Вы помните, что неподалеку от нас жил один отставной офицер, побывавший на полуострове, тот самый, который плясал вокруг костра со своей сестрой и двумя служанками. Он

отправился в Лондон хлопотать о своей пенсии и о вспомоществовании, потому что был ранен, а также и о том, чтобы достать себе какое-нибудь занятие, так что вернулся домой только поздно осенью. В один из первых дней своего приезда он пришел повидаться с нами, и тут в первый раз он увидел де Лаппа. Никогда я не видал в своей жизни такого удивленного лица, какое было у него, когда он долго и пристально смотрел на нашего приятеля, не говоря ни слова. Де Лапп, в свою очередь также пристально смотрел на него, но по глазам иностранца было видно, что он его не узнал.

— Я не знаю, кто вы, сэр, — сказал он, наконец, — но вы так смотрите на меня, как будто бы видали меня прежде.

— Да, я и видал, — отвечал майор.

— Насколько мне известно, этого никогда не было.

— Но я побожусь, что было.

— Так где же это?

— В деревне Асторга, в 8-м году.

Де Лапп вздрогнул и опять пристально посмотрел на нашего соседа.

— Mon dieu! Какая встреча! — воскликнул он. — А вы были английским парламентаром? Я очень хорошо помню вас, сэр, — я говорю правду. Позвольте мне сказать вам

слова два на ухо. — Он отвел его в сторону и с четверть часа говорил с ним по-французски с серьезным видом, жестикулируя руками и что-то объясняя, между тем как майор время от времени утвердительно кивал своей старой седой головой. Наконец, они, по-видимому, пришли к какому-то соглашению, и я слышал, как майор несколько раз повторил: «Parole d'honneur», а затем: «Fortune de la guerre», — это я понял очень хорошо, потому что у Бертуистля было хорошее преподавание. Но после этого я замечал, что майор никогда не говорил так бесцеремонно с нашим постояльцем, как говорили с ним мы, но всегда

кланялся, когда обращался к нему, и обходился с ним с большим уважением, что нас удивляло. Я не раз спрашивал майора, что он знает о нём, но он всегда старался как-нибудь отделаться, и я не мог добиться от него никакого ответа.

Летом в этом году Джим Хорскрофт прожил все время дома, но поздно осенью он отправился опять в Эдинбург на зимние занятия, так как намеревался работать очень прилежно и, если бы только это ему удалось, получить весной ученую степень. Он сказал, что останется в городе и на Рождество; поэтому он и кузина Эди должны были распрощаться надолго; он имел

намерение вывесить свою дощечку, и жениться на ней, как только получит право практиковать. Я никогда не видал, чтобы какой-нибудь мужчина так нежно любил женщину, как он ее, и она также очень любила его по-своему, — потому что на самом деле она во всей Шотландии не нашла бы мужчины красивее его. Но когда речь заходила о свадьбе, то мне казалось, что она немного колебалась при мысли, что все ее великолепные мечты окончатся только тем, что она сделается женой деревенского доктора. Но как бы то ни было, ей приходилось выбирать только между Джимом и мной, и она выбрала того из нас, который был лучше.

Конечно, тут был также и де Лапп, но мы всегда чувствовали, что он был человеком совсем другого сорта, а потому он не шел в счет. В то время я не знал хорошенько, нравился ли он Эди или нет. Когда Джим был дома, то они не обращали друг на друга почти никакого внимания. Но после того как он уехал, они чаще бывали вместе, что было вполне понятно, так как Джим отнимал у нее много времени. Раз или два она говорила со мной о де Лаппе в том смысле, что он ей не нравится, и, несмотря на то, она беспокоилась, когда его не было вечером; и, надо сказать что никто не любил так слушать его разговоры и

не задавал ему так много вопросов, как она. Она заставляла его описывать те платья, которые носят королевы, и те ковры, по которым они ходят, спрашивала его о том, есть у них в волосах шпильки и много ли бывает у них перьев на шляпах, и я только дивился тому, как он мог найти на все это ответ. А, между тем, у него всегда был готов ответ; он с такой охотой и так быстро отвечал ей и так старался ее забавлять, что я только удивлялся тому, что он ей не нравится.

И вот прошли лето, осень и большая часть весны, а мы по-прежнему жили очень счастливо вместе. Наступил уже 1815 год, а

великий император все еще томился на Эльбе, и посланники всех государств спорили в Вене о том, что делать со шкурой льва после того, как они его совсем затравили. А мы в нашем маленьком уголке Европы не оставляли нашего скромного мирного занятия, ходили за овцами, посещали бервикские ярмарки, на которых продавался скот, а по вечерам болтали, сидя у печки, в которой ярко пылал торф. Мы никогда не думали, что то, что делают все эти высокопоставленные и могущественные люди, может иметь какое-нибудь отношение к нам; а что касается войны, то все были того мнения, что тень великого

человека уже никогда не упадет на нашу страну, и что если только союзники не поссорятся между собой, то во всей Европе в течение пятидесяти лет не будет слышно ни одного выстрела.

Но при всем том случился один инцидент, который вырисовывается в моей памяти со всеми подробностями. Мне помнится, что это случилось приблизительно в феврале месяце вышеупомянутого года, и я расскажу вам о нем прежде, чем пойду дальше.

Вы знаете, какой вид имеют находящиеся на границе сторожевые укрепления, — я уверен в этом. Это были четырехугольные башни,

выстроенные в разных местах пограничной линии для того, чтобы служить местом убежища народу против нашествия грабителей. Когда Перси со своим войском переходил границу, то народ загонял свой скот на двор башни, запирал большие ворота и зажигал огонь в жаровне на вершине, что делали также и на всех других сторожевых башнях, и, наконец, огни доходили до Каммермурских холмов, и таким образом известие передавалось в Пентланд и в Эдинбург. Но само собой разумеется, что теперь все эти старые башни покосились и обрушиваются, представляя собой такие места, в которых диким

птицам очень удобно вить их гнезда. Я нашел много прекрасных яиц для своей коллекции в Корримюрской сторожевой башне. Однажды я ходил очень далеко, за холмы, с поручением к семейству Ледло Амстронг, которое живет в двух милях от нас по ту сторону Эйтона. В пять часов, незадолго до захода солнца, я шел по тропинке по склону холма; прямо передо мной виднелась остроконечная крыша Уэст-Инча, а налево от меня была старая сторожевая башня. Я повернулся и посмотрел на башню, потому что она казалась очень красивой, так как была вся освещена красноватым светом заходящего солнца, лучи

которого падали прямо на нее, а за нею простиралось на далекое пространство синее море, и когда я пристально смотрел на нее, то вдруг увидел, что в одном из отверстий стены мелькнуло лицо какого-то человека.

И вот я стоял и думал, что бы такое это могло значить! что мог делать кто-нибудь в этом месте? Птицы еще не начинали вить гнезд — для этого было слишком рано. Это было так странно, что я решился разузнать, в чем дело, а потому, несмотря на усталость, я не пошел домой, но повернул в сторону и направился к башне, стараясь идти как можно скорее. Все это место до

самой стены покрыто травой, так что не было слышно шума моих шагов, и я дошел до обрушившейся арки — места, где прежде были ворота. Заглянув в башню, я увидел, что там стоит Бонавентур де Лапп и смотрит из того самого отверстия, в котором я видел его лицо. Он стоял вполоборота, и я сейчас же увидал, что он совсем не замечает меня, потому что он смотрел во все глаза в том направлении, где находился Уэст-Инч. Когда я сделал еще несколько шагов вперед, то у меня под ногами захрустел щебень, лежавший в воротах, и тут он вздрогнул, обернулся и посмотрел мне прямо в глаза.

Но этого человека ничем нельзя было сконфузить; он нисколько не изменился в лице, как будто бы ждал меня давным-давно, но что-то в его глазах говорило мне, что он дорого бы дал за то, чтобы я опять пошел своей дорогой вниз по склону холма.

— Э! — сказал я, — что вы тут делаете?

— И я могу предложить вам такой же вопрос.

— Я пришел сюда потому, что увидал в окне ваше лица

— А я потому, что, как вы, вероятно, заметили, очень интересуюсь всем, что имеет какое-нибудь отношение к войне, и, разумеется, в числе таких вещей

меня интересуют и укрепления. Извините меня, дорогой мой Джек, я вас оставляю на минуту. — И с этими словами он вдруг выскочил в отверстие в стене, как будто бы для того, чтобы скрыться от меня.

Но меня разбирало любопытство, и я не мог удовольствоваться его извинением. Я быстро вышел из башни, чтобы посмотреть, что он делает. Он стоял на открытом месте и отчаянно махал рукой, как бы подавая кому-то сигнал.

— Что такое вы делаете? — закричал я и побежал к нему, стал с ним рядом и смотрел в степь, чтобы увидеть, кому он подает знак.

– Вы слишком много позволяете себе, сэр, – сказал он с сердцем. – Я никогда не думал, что вы дойдете до этого. Порядочный человек волен поступать так, как считает нужным, и вы не должны за ним подглядывать. Если мы с вами останемся друзьями, то вы не должны вмешиваться в мои дела.

– Я не люблю этих секретных дел, – сказал я – да и мой отец тоже не любит их.

– Ваш отец может говорить сам за себя, и тут нет никакой тайны, – сказал он коротко. – Это только вы вообразили себе, что здесь кроется какая-то тайна. Та, та, та! Я не выношу таких глупых выдумок.

Он повернулся ко мне спиной, даже не кивнув мне, и быстро пошел по направлению к Уэст-Инчу. И я пошел вслед за ним в самом мрачном настроении: у меня было предчувствие, что вскоре случится какое-то несчастье, хотя я никак не мог объяснить, что значило все то, что я видел. И опять я стал ломать себе голову над тем, для чего приходил сюда этот таинственный незнакомец, который так долго живет у нас. А затем, кого он поджидал в сторожевой башне? Не был ли он шпионом и, может быть, какой-нибудь другой шпион, его собрат по ремеслу, приходил сюда, чтобы переговорить с ним? Но все

это нелепо. Что можно было высмотреть в Бервикшире? А, кроме того, майор Эллиот знал, кто он такой, и если бы он был дурным человеком, то майор не стал бы оказывать ему такого уважения.

Я только додумался до этого, как вдруг услышал, что кто-то весело окликнул меня, а это был сам майор, который шел из своего дома и спускался вниз по холму со своим большим бульдогом Боундером, которого он вел на сворке. Это была свирепая собака, которая наделала немало бед в окрестности, но майор очень любил ее и никогда не выходил без нее из дома, хотя он водил ее на привязи — на довольно толстой

ременной сворке. И вот, в то самое время, когда я смотрел на майора и ждал, чтобы он подошел ко мне поближе, он споткнулся, потому что зацепился хромой ногой за ветку дикого терна; стараясь прийти в настоящее положение, он выпустил из рук сворку, и проклятая собака сейчас же пустилась стрелой вниз по холму и бежала прямо ко мне. Скажу вам откровенно, мне это было очень неприятно, потому что кругом нигде не было видно ни палки, ни камня, а я знал, что это было опасное животное. Оставшийся сзади майор громко кричал ей, но собака, я полагаю, думала, что он науськивает ее, и бешено мчалась вперед. Я знал

ее кличку и подумал, что, может быть, это послужит мне на пользу, а потому, когда она подбежала ко мне с ошетинившейся шерстью и приплюснутым носом между налитыми кровью глазами, то я, насколько хватило у меня голоса, начал кричать: «Боундер! Боундер!» — Это произвело желаемое действие, потому что собака, рыча, пробежала мимо меня и помчалась по тропинке по следам Бонаventura де Лаппа.

Услышав крик, он обернулся и, по-видимому, сразу понял, в чем дело, но не прибавил шага. Я от всей души желал помочь ему, потому что собака никогда не видала его прежде, и со всех ног побежал вперед для

того, чтобы оттащить от него собаку. Когда она подбежала к де Лаппу и увидела указательный и большой палец его протянутой назад руки, которые двигались, то почему-то ее бешенство утихло, и мы увидели, что она вертит своим похожим на обрубок хвостом и облепила его за колена.

— Так это ваша собака, майор? — спросил он, когда к нему подошел прихрамывая, ее хозяин. — Ах, какое славное животное, какая чудесная, красивая собака.

Майор тяжело дышал, потому что он пробежал это пространство почти так же быстро, как и я.

— Я боялся, чтобы она вас не

укусила, — говорил, задыхаясь, майор.

— Та, та, та! — воскликнул де Лапп. — Это красивое, смирное животное; я очень люблю собак. Но я рад, что встретился с вами, майор, потому что вот этому юному джентльмену, которому я так обязан, пришло в голову, что я — шпион. Не правда ли, Джек?

Меня так смутили его слова, что я не мог сказать ни слова в ответ, но весь покраснел и смотрел исподлобья, как неуклюжий деревенский парень, каким я был.

— Вы знаете меня, майор, — сказал де Лапп, — и скажете ему, что этого не может быть, — я уверен в этом.

– Нет, нет, Джек! Конечно, не может быть! Конечно, не может быть! – воскликнул майор.

– Благодарю вас, – сказал де Лапп. – Вы меня знаете и будете ко мне справедливы. Ну, а вы как поживаете? Надеюсь, что теперь вашему колену лучше и что вам скоро опять дадут ваш полк?

– Я чувствую себя сносно, – отвечал майор, – но мне дадут место только в том случае, если будет война, а покуда я жив, войны уже больше не будет.

– О, вы так думаете! – сказал с улыбкой де Лапа – Хорошо, nous verrons! Мы это увидим, мой друг!

Он проворно снял шляпу и,

быстро повернувшись назад, пошел по направлению к Узст-Инчу. Майор стоял в раздумье и смотрел ему вслед, а затем спросил у меня почему я подумал, что он шпион. И когда я рассказал ему обо всем, он ничего не ответил мне на это, но покачал головой и при этом имел такой вид, как будто его что-то тревожило.

Глава VIII

Прибытие катера

После этого маленького инцидента в сторожевой башне я уже не мог относиться к нашему постояльцу так, как относился к нему прежде. Я не забывал того, что он держит от меня что-то в тайне, или, выражаясь точнее, что он сам был для меня загадкой, так как он всегда накидывал завесу на свое прошлое. И когда эта завеса случайно приподнималась на минуту, то мы

всегда мельком видели за ней кровопролитие, насилие и разные ужасы. И самый вид его тела был ужасен. Как-то раз летом я купался с ним, и тут я увидал, что у него на всем теле были рубцы от ран. Не говоря уже о семи или восьми рубцах или шрамах, у него на одном боку были искривлены ребра и оторвана часть одной из икр. Увидев на моем лице удивление, он, по своей привычке, весело рассмеялся.

— Казаки! Казаки! — сказал он, проводя рукой по своим рубцам. — А ребра были переломлены артиллерийской фурой. Плохо приходится тому, через кого переедут пушки. Что касается кавалерии, то

это ничего не значит. Как бы ни скакала быстро лошадь, она выбирает дорогу. Когда я лежал на земле, то проехало полтораста кирасиров и русские гродненские гусары, и я нисколько не пострадал от этого. Но от пушек приходится плохо.

— А икра? — спросил я.

— Rouf! А это меня кусали волки и больше ничего, — сказал он. — Вы не можете себе и представить, как это со мной случилось. Поймите вы, что и лошадь, и меня, ранили; лошадь была убита, а я лежал на земле со сломанными фурой ребрами. Ну и холодно же было, страшно, страшно, холодно! Земля — точно железо,

раненым помогать некому, так что они замерзли и приняли такой вид, что на них было смешно смотреть. Я тоже чувствовал, что замерзаю, — что же оставалось мне делать? Я взял свою саблю, вскрыл, как мог, брюхо у моей мертвой лошади и устроил себе в ней место, чтобы можно было лечь, оставив себе только отверстие для рта. Sapristi! Там было довольно тепло. Но только там недоставало места для всего меня, так что мои ступни и часть ног высывались наружу. И вот ночью, когда я спал, пришли волки, чтобы есть лошадь, так вот они немножко пощипали также и меня, как вы видите; но после этого я был настороже с

пистолетами, и поэтому им не пришлось больше полакомиться мной. Я прожил так целых десять дней, и мне было очень тепло и уютно.

— Десять дней! — воскликнул я. — А чем же вы питались?

— Как чем? Я ел лошадиное мясо, значит, у меня было помещение со столом, как вы это называете. Но, разумеется, я был настолько рассудителен, что ел ноги, а жил в туловище. Вокруг меня было много убитых, и я взял себе все их фляжки с водой, — стало быть, у меня было все, чего бы я ни пожелал. На одиннадцатый день тут проезжал патруль легкой кавалерии, и все

кончилось благополучно.

Таким образом, он случайно в подобных разговорах, передавать которые я не считаю нужным, давал понятие о самом себе и проливал свет на свое прошлое. Но приближалось такое время, когда мы должны были узнать все, а как это случилось, — это я и попытаюсь теперь рассказать вам.

Зима была холодная, но в марте показались первые признаки весны, и целую неделю у нас было солнце, и ветер дул с юга. 7-го числа должен был приехать из Эдинбурга Джим Хорскрофт, потому что хотя занятия кончились 1-го числа, но он должен был посвятить еще неделю на

экзамены. 6-го мы с Эди гуляли по морскому берегу, и я не говорил ни о чем другом, как только о моем друге, потому что, на самом деле, в то время кроме него у меня не было друга одних со мной лет. Эди больше молчала, что случилось с ней редко, но с улыбкой выслушивала все, что я говорил ей.

— Бедняжка Джим! — сказала она раз или два про себя. — Бедняжка Джим!

— А если он выдержит экзамен, — сказал я, — то, конечно, он вывесит свою дощечку; будет жить отдельно от отца, а мы потеряем нашу Эди. — Я старался говорить об этом в шутливом и веселом тоне, но слова

не шли у меня с языка

— Бедняжка Джим! — снова повторила она, и при этом слезы навернулись у нее на глаза. — И Джек тоже бедняжка! — прибавила она, всовывая свою руку в мою, когда мы шли с ней рядом. — Ведь и вы когда-то тоже любили меня немножко, не правда ли, Джек? О, какой там на море хорошенький маленький кораблик!

Это был красивый катер приблизительно в тридцать тонн, очень быстрый на ходу, судя по уклону мачт и очертаниям кормы. Он плыл с юга под кливером, фокзейлем и гротом; но в то самое время, как мы смотрели на него, все

его белые паруса свернулись подобно тому, как чайка складывает свои крылья, и мы видели, как расплескалась вода от якоря, пущенного прямо под его бушпритом. Он был менее чем на четверть мили от берега, — так близко, что я мог разглядеть высокого ростом человека в остроконечной шапочке, который стоял на палубе, приложив к глазу подзорную трубу, которую он передвигал то вправо, то влево, осматривая берег.

— Что им нужно здесь? — спросила Эди.

— Это — богатые англичане из Лондона, — отвечал я, потому что мы, жители пограничных графств, всегда

давали такое объяснение тому, чего не могли понять. Мы стояли около часа и смотрели на это красивое судно, а затем, так как солнце садилось за тучу, и в вечернем воздухе стало холодно, мы вернулись в Уэст-Инч.

Если вы подойдете к ферме с фасада, то должны пройти через сад, в котором очень мало деревьев, из которого можно выйти через калитку ворот на большую дорогу; это те самые ворота, у которых мы стояли в ту ночь, когда горели сигнальные огни и когда Вальтер Скотт ехал в Эдинбург и проехал мимо нас. Направо от этих ворот, со стороны сада, был грот, устроенный, как

говорили, много лет тому назад матерью моего отца. Она устроила его из ноздреватых камней и морских раковин, а в трещинах росли мох и папоротники. И вот, когда мы вошли в ворота, то первое, что мне бросилось в глаза, была эта груда камней, и я увидал, что на самой ее вершине засунуто в трещину какое-то письмо. Я пошел вперед, чтобы посмотреть, что это за письмо, но Эди опередила меня и, вытащив его из трещины, сунула себе в карман.

— Это мне, — сказала она со смехом.

Но я стоял и смотрел на нее с таким выражением на лице, от которого она перестала смеяться.

– От кого это, Эди? – спросил я.

Она надула губы, но ничего мне не ответила.

– От кого это? – закричал я. – Неужели же вы точно так же изменили Джиму, как изменили мне?

– Какой вы грубый, Джек! – воскликнула она. – Я не хочу, чтобы вы вмешивались в такие дела, которые вас не касаются.

– Это письмо может быть только от одного человека, – воскликнул я, – это от де Лаппа.

– А что, если вы угадали, Джек? Хладнокровие этой женщины удивляло и в то же время бесило меня.

– Вы признаетесь в этом! –

закричал я. – Неужели же у вас нет никакого стыда?

– А почему же я не могу получать писем от этого джентльмена?

– Потому что это позорно.

– А почему это позорно?

– Потому что он – чужой вам человек.

– Напротив, – отвечала она, – он – мой муж.

Глава IX

О том, что происходило в Уэст-Инче

Я отлично помню эту минуту. Я слышал от других, что от сильного, неожиданного удара у них притуплялись все чувства. Но со мной было не так. Наоборот, я видел, слышал и думал гораздо отчетливее, чем прежде. Я помню, что мне бросился в глаза маленький выпуклый кусочек мрамора, величиной с мою ладонь, который

был вставлен в один из серых камней грота, и я имел время полюбоваться его жилками нежного цвета, но, должно быть, у меня был какой-то особенный взгляд, потому что кузина Эди вскрикнула и, оставив меня одного, побежала в дом. Я пошел за ней и постучал в окошко ее комнаты, так как видел, что она была тут.

— Уходите, Джек, уходите! — кричала она. — Вы будете меня бранить! Я не хочу, чтобы меня бранили! Я не отворю окна! Уходите!

Но я продолжал стучать.

— Мне нужно переговорить с вами.

— О чем же это?! — закричала она, подняв подъемное окно на три

дюйма. — Как только вы начнете браниться, я закрою окно.

— Вы в самом деле вышли замуж, Эди?

— Да, я вышла замуж.

— Кто вас венчал?

— Патер Бреннан в римско-католической церкви, в Бервике.

— Но ведь вы — пресвитерианка?

— Он хотел, чтобы мы венчались в католической церкви.

— Когда это было?

— В среду на прошлой неделе.

Тогда я вспомнил, что в этот день она уезжала в Бервик, между тем, как де Лапп ушел гулять далеко и, по его словам, гулял между холмами.

– А как же теперь Джим?

– О, Джим простит мне это!

– Вы сокрушите его сердце и разобьете его жизнь.

– Нет, нет, он простит мне.

– Он убьет де Лаппа! О, Эди, как вы могли навлечь на нас такой позор и такое несчастье?

– Ах, вы начинаете браниться! – воскликнула она, и окно закрылось

Я подождал некоторое время и затем опять постучал, потому что мне нужно было расспросить ее о многом; но она ничего не отвечала, и мне казалось, что я слышу ее рыдания. Наконец я оставил это и хотел было войти в дом, потому что почти совсем стемнело, но услышал,

что за кем-то защелкнулись ворота. Это пришел сам де Лапп.

Но когда он шел по дорожке, то мне показалось, что он или сошел с ума, или пьян.

Идя вперед, он приплясывал, щелкал пальцами, а глаза блестели у него, как блуждающие огни. «*Voltigeurs!*» — кричал он. — «*Voltigeurs de la Garde!*» — точно так же, как кричал он тогда, когда лежал в беспамятстве, а затем вдруг крикнул: — «*En avant, en avant!*». И он шел к дому, махая над головой своей тростью. Он сразу остановился, когда увидел, что я смотрю на него, и, надо думать, ему сделалось стыдно за себя.

– Эй, Джек! – закричал он. – А я думал, что тут никого нет. Я нынче вечером в самом веселом настроении, как говорите вы, англичане.

– Да, кажется, что так, – сказал я напрямик по своему обыкновению, – но странно, что вы так веселье ведь мой друг, Джим Хорскрофт вернется завтра домой.

– А, так он вернется завтра? Но я не понимаю, отчего же мне не быть веселым?

– Потому что, насколько я его знаю, он убьет вас.

– Та, та, та! – воскликнул де Лапа – Я вижу, вам известно, что мы обвенчались. Вам об этом сказала

Эди. Джим может делать, что ему угодно.

— Хорошо вы отплатили нам за то, что мы приняли вас к себе!

— Мой добрый друг, — сказал он, — я действительно хорошо отплатил вам, как вы говорите. Я взял Эди потому, что она не годится для такой жизни и, благодаря этому браку, вы через меня породнитесь с благородной фамилией. Но мне нужно написать нынче вечером несколько писем, а об остальном мы можем переговорить завтра, когда придет ваш друг Джим, который поможет нам. — И с этими словами он подошел к двери.

— Так вот кого вы поджидали в

сторожевой башне! – крикнул я ему вслед, потому что мне вдруг все сделалось ясно.

– Ну, Джек, вы становитесь очень резким, – сказал он насмешливым тоном. И через минуту я услышал, что он затворил дверь в своей комнате и щелкнул ключом.

Я подумал, что уже не увижусь с ним в этот день вечером, но через несколько минут после этого он пришел в кухню, где я сидел вместе со стариками.

– Madame, – сказал он с поклоном, приложив руку к сердцу по своему смешному обыкновению, – вы были очень добры ко мне, и воспоминание об этом я навсегда

сохраню в своем сердце Я даже не воображал себе, что могу быть так счастлив в этой тихой деревне, как был у вас. Прошу вас принять от меня на память эту маленькую вещицу, которую я считаю за честь подарить вам, а также и вы, сэр, примите от меня этот небольшой подарок. Он положил два маленьких бумажных свертка перед стариками, которые сидели, опершись на локти, и затем, отвесив опять три поклона матери, вышел из комнаты.

Одним из его подарков была брошка с зеленым камнем, посередине осыпанным маленькими блестящими белыми камнями, которых было около двенадцати. Мы

еще никогда не видали таких вещей и даже не знали, как они называются. Но потом нам сказали в Бервике что большой камень называется изумрудом, а маленькие — бриллиантами, и что они стоят дороже всех ягнят, которые родились у нас весной в этом году. Много лет прошло с тех пор, как умерла моя дорогая старая мать, но эта красивая брошка блестит на шее моей старшей дочери, когда она идет в гости, и всякий раз, как я смотрю на нее, мне так и кажется, что я вижу перед собой длинный худой нос и кошачьи усы того человека, который жил у нас в Уэст-Инче. Что касается моего отца, то он получил в подарок

прекрасные золотые часы и к ним два футляра, и у него был очень гордый вид, когда он сидел, держа их на своей ладони и прислушиваясь к их тиканью. Я не мог сказать, кто из них был больше доволен, мать или отец, и они только и говорили о тех подарках, которые сделал им де Лапп.

— Кроме этого, он дал вам и еще кое-что, — сказал я, наконец.

— А что же он дал, Джек? — спросил отец.

— Мужа для кузины Эди, — сказал я.

Услышав такие слова, они подумали, что я брежу, но когда они убедились, что это была

действительно правда, то они были так довольны этим и так возгордились, как будто бы я сказал им, что она вышла замуж за лорда. И на самом деле бедный Джим с его пристрастием к вину и кулачным боям не пользовался в окрестности репутацией, и моя мать часто говорила, что из этого брака не выйдет ничего хорошего. А де Лапп, насколько мы его знали, был человеком солидным, сдержанным и богатым. Что же касается до того, что брак этот был тайным, то тайные браки были обычным явлением в Шотландии в такое время, когда нужно было сказать только несколько слов, чтобы сделаться

мужем и женой; поэтому никто не обращал на них большого внимания. А потому старики были так довольны этим, как будто бы последовало уменьшение поземельного налога; но мне все-таки было больно: мне казалось, что с моим другом поступили жестоко, и я знал, что он был таким человеком, который не скоро примирится с этим.

Глава X

Тень появляется снова

На следующий день утром я проснулся с тяжелым чувством на душе: я знал, что скоро приедет Джим, и что этот день принесет с собой горе. Но сколько горя принес нам этот день, и как после него переменялась жизнь каждого из нас, — этого я не мог вообразить себе даже и тогда, когда бывал в самом мрачном настроении. Но позвольте мне рассказать вам все это в том

порядке, как оно случилось.

В этот день мне нужно было встать рано, потому что овец выгнали в первый раз на пастбище, и мы с отцом должны были отправиться в степь на рассвете. Когда я вышел в коридор, то мне пахнул в лицо ветер: входная дверь была отворена настежь, и в утренних сумерках можно было разглядеть, что отворена другая дверь внутри дома. Когда я посмотрел опять, то увидал, что были отворены двери как в комнате Эди, так и в комнате де Лаппа. Тут я сразу понял, что означали эти подарки, сделанные им накануне вечером. Это было прощание, и они уехали. Когда я

взглянул в комнату кухни Эди, то мне сделалось горько. Только подумать о том, что она ради какого-то пришельца покинула всех нас, не сказав нам ни одного ласкового слова и не простилась с нами! Да и он тоже! Я боялся, думая, что произойдет тогда, когда Джим встретится с ним; то, что он избегал теперь Джима, казалось как бы трусостью с его стороны. Я был рассержен, оскорблен и мне было больно; и вот я вышел из дома, не сказав об этом ни слова отцу, и поднялся по холму на пастбище для того, чтобы освежить мое пылавшее лицо.

Когда я поднялся в Корримюр,

то в последний раз увидел издали кузину Эди. Маленький катер все еще стоял там, где он бросил якорь, но к нему плыло от берега гребное судно. Я видел, что на его корме развевается что-то красное, и узнал красный платок кузины. Я видел, как судно подплыло к катеру, и сидевшие в нем люди поднялись на палубу. Затем катер снялся с якоря, снова распустил свои белые крылья и вышел в открытое море. Я еще мог видеть маленькое красное пятнышко на палубе и де Лаппа, который стоял рядом с кузиной. И они так же могли видеть меня, потому что моя фигура вырисовывалась на небе, и они оба долго махали руками, но, наконец,

перестали, видя, что я им не отвечаю. Я стоял со сложенными на груди руками и в таком настроении, в каком едва ли был когда-нибудь в жизни до этих пор, пока катер не сделался четырехугольным белым пятном, мелькающим в утреннем тумане

Наступило время завтрака, и суп был подан на стол раньше, чем я вернулся домой, но мне совсем не хотелось есть. Старики приняли это известие довольно хладнокровно, хотя моя мать сильно порицала Эди, потому что они никогда не любили одна другую; а в последнее время еще меньше, чем прежде.

— Вон там лежит письмо от него,

— сказал отец, указывая на запечатанную записку, которая лежала на столе. — Она была оставлена в его комнате. Может быть, ты прочтешь ее нам.

Они так и не распечатали ее, потому что, сказать правду, ни тот ни другой из этих добрых людей не умел читать по писаному, хотя они могли хорошо прочесть то, что было напечатано хорошим крупным шрифтом.

На ней был написан крупным почерком следующий адрес «Добрым людям, живущим в Узст-Инче». И вот что было написано в этой записке, которая теперь, в то время, как я пишу, лежит передо мной. Она вся в

пятнах, и чернила выцвели;

«Друзья мои! Я не подумал бы оставить вас так неожиданно, если бы дело зависело от меня лично, а не от других. Долг и честь опять призывают меня к моим старым товарищам. Вы, без сомнения, в самом скором времени поймете это. Я беру с собой и вашу Эди, как свою жену, и, может быть когда-нибудь, в более мирное время, вы опять увидите нас обоих в Уэст-Инче. А до того времени примите уверения в моем искреннем расположении к вам и будьте уверены, что я никогда не забуду тех месяцев, которые я прожил у вас так спокойно в такое время, когда я не прожил бы больше

недели, если бы был взят в плен союзниками. Но вы также когда-нибудь узнаете и то, почему так случилось»

Ваш

Бонавентур де Лиссак,

Полковник гвардейских стрелков

и адъютант

Его Величества Императора

Наполеона».

Когда я дошел до этих слов, написанных под его фамилией, то засвистал, потому что я уже давно решил в уме, что наш постоялец непременно должен быть один из тех удивительных солдат, о которых мы так много слышали, и которые, за исключением нашей столицы, брали

все столичные города в Европе, но я все-таки не думал, что под нашей крышей живет адъютант самого Наполеона и полковник его гвардии.

— Значит, его настоящая фамилия де Лиссак, а не де Лапп, — сказал я. — Но как бы то ни было, хотя он и полковник, но хорошо, что он убрался отсюда прежде, чем Джим наложил на него свою руку. И он успел сделать это вовремя, — прибавил я, выглянув из окна кухни, — потому что к нам идет через сад тот, кто легок на помине.

Я подбежал к двери, чтобы встретить его, сознавая в то же время, что я дал бы дорого за то, чтобы он остался в Эдинбурге. Он

бежал к дому, махая над головой какой-то бумагой, и я подумал, что, может быть, это только письмо от Эди, и что ему все известно. Но когда он подбежал ко мне, то я увидел, что это была какая-то большая жесткая желтоватая бумага, которая хрустела, когда он махал ею, и что глаза, в которых выражалось счастье, так и бегали.

– Ура, Джек! – громко закричал он. – Где Эди? Где Эди?

– Что это такое, дружище? – спросил я.

– Где Эди?

– Что это у тебя?

– Это мой диплом, Джек. Теперь я могу лечить, когда захочу. Все

сошло хорошо. Я хочу показать его Эди.

– Самое лучшее, что ты можешь сделать, это – совсем забыть об Эди, – сказал я.

Я никогда в жизни не видал, чтобы кто-нибудь так изменился в лице, как он, когда я сказал эти слова.

– Как! Что ты хочешь сказать этим, Джек Кольдер? – проговорил он, заикаясь.

Говоря это, он выпустил из рук свой драгоценный диплом, который упал за изгородь и летел по степи до тех пор, пока не долетел до куста вереска, где остановился и трепетал от ветра; но Джим даже и не

посмотрел на него. Он смотрел в упор на меня, и я видел, что его глаза загорелись каким-то зловещим огнем.

— Она недостойна тебя, — сказал я. Он схватил меня за плечо.

— Что ты сделал? — прошептал он. — Это какая-нибудь твоя штука? Где она?

— Она убежала с тем французом, который жил здесь.

Я все придумывал, как бы мне сказать ему это помягче, но так как я совсем не умел говорить, то не мог придумать ничего лучше этого.

— О! — сказал он и стоял, кивая головой и смотря на меня, но я прекрасно понимал, что он не видал

меня и едва держался на ногах. Так простоял он с минуту или больше, с руками, сжатыми в кулаки, и все кивая головой. Затем он точно с трудом что-то проглотил и сказал странным резким и хриплым голосом:

— Когда это случилось?

— Нынче утром.

— Они были обвенчаны?

— Да.

Он ухватился рукой за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах.

— Она ничего не велела мне передать?

— Она сказал, что просит тебя простить ее

— Пусть пропаду я пропадом в

тот день, когда сделаю это! Куда же они поехали?

– Надо думать, во Францию.

– Кажется, его фамилия де Лапп?

– Его настоящая фамилия де Лиссак, и он – лицо важное – полковник гвардии Бони (Бонапарта).

– Ах! Он, должно быть, едет в Париж. Это хорошо! Это хорошо!

– Держитесь! – закричал я. – Отец, отец! Дай сюда водки!

Под Джимом подогнулись колени, но он успел оправиться прежде, чем старик прибежал с бутылкой.

– Унесите отсюда водку, – сказал

ОН.

— Выпейте, мистер Хорскрофт, — закричал мой отец, сунув ему в руки бутылку. — Это подкрепит вас! Он схватил бутылку и перебросил ее через садовую изгородь

— Это очень хорошо для тех, кто хочет забыться, — сказал он, — но я буду помнить.

— Да простит вам Бог, что вы понапрасну разбили бутылку! — громко воскликнул мой отец.

— И чуть не размозжили голову офицеру пехотного полка его величества! — сказал старый майор Эллиот, голова которого показалась над изгородью. — Я не прочь выпить рюмочку после утренней прогулки,

но когда около моего уха со свистом пролетает целая бутылка, — этого со мной еще никогда не случалось. Но что такое у вас случилось, что вы все стоите вокруг, не говоря ни слова, точно на похоронах? Я в кратких словах рассказал ему о нашей горе, между тем как сам Джим с бледным лицом и нахмуренными бровями стоял, прислонившись к дверному косяку. Когда я кончил, то и у майора был такой же печальный вид, как и у нас, потому что он очень любил как Джима, так и Эди.

— Фи! Фи! — сказал он. — У меня были насчет этого кое-какие подозрения после той истории в сторожевой башне. Все французы

таковы. Они не могут оставить в покое женщин. Но, по крайней мере, де Лиссак женился на ней, и это может служить нам утешением. Но теперь не время думать о наших личных маленьких огорчениях, когда опять поднялась вся Европа, и надо думать, что нужно снова ждать двадцатилетней войны

— Что вы хотите сказать этим? — спросил я.

— Да как же, ведь Наполеон вернулся с острова Эльбы, и его войска собрались к нему, а Людовик спасся бегством. Я слышал эту новость нынче утром в Бервике.

— Господи! — воскликнул мой отец. — Нам опять придется вести

войну, которая нам так надоела.

— Да, мы думали, что совсем избавились от тени, но вот она — опять показалась. Веллингтон получил приказание из Вены идти в Голландию, так как полагают, что Наполеон сделает, прежде всего, нападение с этой стороны. Ну, это известие не предвещает ничего хорошего. Я сейчас получил уведомление о том, что должен присоединиться к 71-му полку в чине старшего майора.

Услышав такие слова, я пожал руку нашему доброму соседу: я знал, как огорчало его то, что он — калека и не может играть никакой роли на свете

— Я должен отправиться в свой полк, как можно скорее, и через месяц мы будем на континенте а после этого не пройдет, может быть, и месяца, как мы будем в Париже.

— Когда так, то клянусь, что и я тоже пойду с вами, майор! — воскликнул Джим Хорскрофт. — Мне не стыдно будет взять в руки ружье; если только вы поставите меня лицом к лицу с этим французом.

— Молодой человек, для меня лестно, что вы будете служить под моим начальством, — сказал майор. — Что же касается де Лиссака, то где будет находиться император, там будет и он.

— Вы знаете этого человека? —

сказал я. — Что вы можете сказать нам о нем?

— Лучшего офицера, чем он, не найдешь во всей французской армии, и если я так говорю, то это много значит. Говорят, что он мог бы быть маршалом, но он захотел лучше остаться с императором. Я виделся с ним два дня перед битвой при Корунне, когда я был послан парламентарем для переговоров о наших раненых. Он был тогда с Сультом. Когда я увидал его здесь, то сейчас же узнал.

— И я его узнаю, когда опять увижу! — сказал Джим Хорскрофт все с таким же мрачным видом, как и прежде.

И в ту минуту, как я стоял здесь, мне вдруг стало ясно, как бессодержательна и бесцельна будет моя жизнь в то время, как этот калека — наш приятель, и товарищ моего детства будут находиться в передних рядах действующей армии. И я с быстротой молнии также принял решение.

— И я тоже пойду с вами, майор! — воскликнул я.

— Джек! Джек! — сказал мой отец, ломая себе руки. Джим не сказал ни слова, но обнял меня рукой и крепко прижал к себе. Глаза майора заблестели, и он помахал своей тростью в воздухе.

— Клянусь, что за мной пойдут

два славных новобранца, – сказал он. – Когда так, то нечего терять время, и вы оба должны быть готовы к тому часу, когда пойдет вечерний дилижанс.

И все это случилось в один только день, а между тем, часто бывает так, что годы проходят за годами без всякой перемены. Представьте же себе, как все переменялось в эти двадцать четыре часа. Де Лиссак уехал, Эди тоже уехала, Наполеон вырвался на свободу, вспыхнула война, Джим Хорскрофт потерял все, что было ему дорого; мы отправились вместе с ним сражаться с французами. Все это случилось точно во сне. И, наконец,

вечером в этот день я пошел садиться в дилижанс и, оглянувшись назад, увидал серые постройки фермы и две небольшие черные фигуры: мою мать, которая закрыла себе лицо своим шерстяным платком, и отца, который махал пастушьим посохом, выражая этим, что он желает мне доброго пути.

Глава XI

Собрание народов

Теперь я подхожу к такому времени в моей жизни, что у меня и сейчас захватывает дух, когда я вспомню о нем, и я жалею, что взял на себя труд рассказать об этом, потому что, когда я пишу, я люблю, чтобы события шли медленно, в порядке, одно за другим, подобно тому, как овцы идут с пастбища. Так было всегда в Уэст-Инче. Но теперь, когда мы должны были выйти на

более обширное жизненное поприще, подобно маленьким соломинкам, которые медленно плывут по какой-нибудь канаве и вдруг попадут на простор и закружатся в водовороте большой реки, то я чувствую, что мне трудно описать моими простыми словами все эти быстро следующие одно за другим события. Почему так случилось, все это вы можете найти в исторических книгах, и потому я об этом говорить не буду, а скажу только о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Полк, в который назначили нашего приятеля, был 71-й полк шотландской легкой пехоты, где солдаты носили красные мундиры и панталоны, а его

интендантский склад находился в городе Глазго, куда мы и отправились все втроем в дилижансе; майор был очень весел и без конца рассказывал истории о герцоге и о полуострове, между тем как Джим сидел в углу со сжатыми губами и сложенными на груди руками, и я знал, что он мысленно убивает де Лиссака, по крайней мере, три раза в час. Я мог видеть это, потому что у него вдруг вспыхивали глаза, и он крепко схватывался за что-нибудь рукой. Что касается меня, то я сам не знал, радоваться мне или печалиться, потому что ничто не может заменить родного дома и, хотя я и старался казаться твердым, но все-таки было

грустно подумать о том, что целая половина Шотландии отделяла меня от матери.

В Глазго мы приехали на другой день, и майор повел нас в интендантский склад, где какой-то солдат с тремя нашивками на рукаве и множеством ленточек, спускавшихся с фуражки, улыбнулся во весь рот, увидев Джима, и три раза обошел вокруг него для того, чтобы лучше его разглядеть, точно Джим был Карлейльским замком. После этого он подошел ко мне, ткнул мне в ребра, пощупал мои мускулы, и остался мной почти так же доволен, как и Джимом.

— Это самые настоящие, майор,

самые настоящие, — повторил он. — Будь у нас тысяча таких молодцов, мы могли бы отразить самых лучших солдат Бонапарта.

— Как солдаты маршируют? — спросил майор.

— Плохо, — сказал он, — но они могут выучиться. Самые лучшие солдаты были отправлены в Америку, и у нас в полку все ополченцы и новобранцы.

— Фуй! Фуй! — сказал майор. — А против нас все старые и хорошие солдаты. Вы двое можете прийти ко мне, если вам будет что-нибудь нужно.

С этими словами он, кивнув головой, ушел от нас, и тут мы

начали понимать, что майор, наш начальник, совсем не похож на того майора, который случайно оказался нашим соседом по деревне

Ну хорошо, — к чему же буду надоедать вам всем этими подробностями? Я испортил бы хорошо очинённое гусиное перо, если бы стал описывать все, что делали мы, то есть Джим и я, в интендантском складе в Глазго, как мы познакомились с нашими начальниками и товарищами, а они с нами. Вскоре получено было известие о том, что те лица, которые собрались в Вене и разрезали Европу на части, как будто бы она была задней ногой баранины, все

разъехались, — каждый отправился к себе на родину, и что все солдаты и лошади их армий были посланы против Франции. Мы слышали также и о том, что в Париже были большие смотры и маневры, что Веллингтон находился в Нидерландах, и что нам и пруссакам придется выдержать первый удар. Правительство отправляло в нему солдат на кораблях, и делало это так поспешно, как только могло, и каждый порт на восточном берегу был загроможден пушками, лошадьми и боевыми припасами. 3 июня и мы также получили приказ выступить в поход, и вечером в тот же день сели на корабль в Лите, а вечером на

следующий день прибыли в Остенде. Я в первый раз в жизни видел чужую страну, — то же самое можно сказать и о большинстве моих товарищей, потому что мы только что поступили на военную службу. Мне кажется, что я еще и теперь вижу перед собой синие воды, линию пенящегося прибоя, длинное желтое взморье и странные ветряные мельницы, махавшие своими крыльями — пройди всю Шотландию с одного конца до другого, этого нигде не увидишь. Это был чистый город, который содержался в большом порядке, но жители были ниже среднего роста, и у них нигде нельзя было купить ни эля, ни овсяных

лепешек.

Отсюда мы отправились в такое место, которое называется Брюгге, а после этого в Гент, где мы соединились с 52-м и 95-м полками, — это были полки, которые принадлежали к одной с нами бригаде. Гент — такое место, которое замечательно своими церквями и каменными зданиями, и, надо сказать правду, что из всех городов, в которых пришлось нам побывать, это был единственный город, где церкви лучше, чем в Глазго. Отсюда мы пошли дальше в Ат; это — деревушка на речке, или скорее на ручейке, который называется Дендер. Тут нас расквартировали — по большей части

в палатках — потому что была прекрасная солнечная погода, и по всей бригаде началось ученье с утра до вечера. Нашим главным начальником был генерал Адамс, а полковника звали Рейнель, и оба они были прекрасными закаленными в боях воинами; но что ободряло нас всего более, это то, что мы находились под командой герцога, а его имя действовало на нас, как призыв сигнального рожка. Сам он с главной частью армии находился в Брюсселе, но мы знали, что скоро увидим его в том случае, если бы понадобилось его присутствие

Я никогда не видел такого большого числа англичан, и,

признаться, я чувствовал к ним какое-то презрение, с каким всегда относятся к англичанам шотландцы, живущие близ границы. Но солдаты тех двух полков, которые соединились с нами, были такими товарищами, каких только можно было желать. В 52-м полку считалось в строю тысяча человек, и между ними было много старых солдат, которые побывали на Пиринейском полуострове. Они, по большей части, были из Оксфордшира. 95-й полк был полк карабинеров, которые носили темно-зеленые мундиры вместо красных. На них было странно смотреть, когда они заряжали, потому что они

завертывали пулю в пропитанную салом тряпку и затем забивали ее деревянным молотком, но они умели стрелять дальше и правильнее, чем мы. В то время вся эта часть Бельгии была наполнена британскими войсками, потому что гвардия находилась у Энгиена, а кавалерийские полки — дальше в сторону, чем мы. Вы понимаете, что Веллингтону было необходимо развернуть все свои силы, потому что Бони (Бонапарт) находился под защитой своих крепостей, и мы не могли сказать, с какой стороны он неожиданно появится, а он, наверное, должен был явиться там, где его совсем не ожидали. С одной

стороны, он мог отрезать нас от моря и, таким образом, от Англии; с другой стороны он не мог занять положение между пруссаками и нами. Но герцог был не глупее его, потому что он собрал вокруг себя свои кавалерийские и легкие полки, наподобие паутины большого паука, так что в ту минуту, когда французы переступили бы границу, он мог расставить всех солдат на надлежащих местах.

Что касается меня, то мне жилось в Ате очень хорошо, и я нашел, что жители — люди очень добрые и простые. Там жил один фермер, которого звали Буа, и наша стоянка находилась на его полях; он

был большим приятелем со многими из нас. В свободное от ученья время мы выстроили ему деревянную ригу, и не раз мы с Джебом Стоном, солдатом, стоявшим за мной в заднем ряду, развешивали для просушки его мокрое белье, и, казалось, ничто так не напоминало нам обоим о доме, как запах этого сырого белья. Я часто вспоминал об этом добром человеке и его жене; не знаю, живы ли они до сих пор, — надо думать, что они уже умерли, потому что уже и в то время они были очень пожилыми людьми. Иногда к нему приходил вместе с нами и Джим, который сидел вместе со всеми в большой фламандской кухне и курил,

но теперь он был уже не похож на прежнего Джима. Он всегда отличался какой-то суровостью, но теперь от горя он превратился в камень, я никогда не видал улыбки на его лице, и он редко говорил со мной. Он думал только об одном — как отомстить де Лиссаку за то, что этот последний отнял у него Эди; и он сидел по целым часам, опершись подбородком на руки, сверкая глазами и хмурясь, занятый всецело одной только мыслью. Сначала это казалось солдатам смешным, и они насмехались над ним, но когда они узнали его покороче, то увидели, что он не такой человек, над которым можно смеяться, и оставили свои

насмешки.

В то время мы вставали очень рано, и обыкновенно, как только начинала заниматься заря, мы были уже под ружьем. Однажды утром — это было 16 июня — мы только что выстроились, и генерал Адамс подъехал к нам, чтобы дать какой-то приказ полковнику Рейнелю; они находились на расстоянии длины ружья от меня, и вдруг оба они начали пристально смотреть на Брюссельскую дорогу. Никто из нас не смел пошевелить головой, но глаза всех солдат полка устремились в эту сторону, и мы увидали, что какой-то офицер с кокардой генеральского адъютанта скачет по этой дороге со

всей скоростью, на какую только была способна его серая в яблоках лошадь. Склонив голову над ее гривой, он хлестал ее по шее поводом, как будто бы ему нужно было спасти жизнь.

— Посмотрите-ка, Рейнел! — сказал генерал. — Это как будто бы похоже на то, что начинается дело. Что вы думаете об этом?

Оба они поскакали галопом вперед, и Адамс разорвал поданный ему посланным конверт, в котором лежала депеша. Конверт еще не успел упасть на землю, а он уже повернул назад свою лошадь и поскакал, махая письмом над головой, точно это была сабля.

— Распустить солдат! — кричал он. — Генеральный смотр и через полчаса выступление в поход.

Вслед за этим началась страшная суматоха, и все передавали друг другу новость. Накануне этого дня Наполеон перешел границу, оттеснил пруссаков и, пройдя довольно большое расстояние вглубь страны, находился на востоке от нас со стопятидесятитысячным войском. Мы бросились собирать наши вещи и завтракать, а через час выступили в поход и навсегда оставили за собой Ат и Дендер. Да и нужно было спешить, потому что пруссаки не прислали Веллингтону никаких известий о том, что происходило, и

хотя, как только до него дошел слух об этом, он двинулся из Брюсселя, как хорошая старая дворовая собака из своей конуры, но едва ли ему можно было прийти вовремя на помощь к пруссакам.

Было ясное теплое утро, и когда бригада шла по широкой Бельгийской дороге, то пыль поднималась от нее кверху клубами так, как поднимается дым от батареи. Скажу вам, что мы благословили того человека, который посадил тополя по обе стороны этой дороги, потому что их тень была для нас лучше питья. Направо и налево от этой дороги шли по полям и другие дороги, одна в очень близком

расстоянии, а другая на расстоянии мили или больше. Какая-то пехотная колонна шла по ближайшей дороге, и между нами происходило, так сказать, состязание в скорости, потому что мы шли так быстро, как только могли. Колонна эта была окутана таким облаком пыли, что мы могли видеть только стволы ружей и медвежьи шкуры, которые мелькали то там, то сям, и вместе с тем над этим облаком поднимались голова и плечо ехавшего верхом офицера и развевающиеся знамена. Это была гвардейская бригада, но мы не знали, какая именно, потому что вместе с нами шли в поход две таких бригады. На дальней дороге видна была также

большая пыль, но сквозь нее мелькало по временам длинной линией что-то блестящее, подобно множеству серебряных бус, нанизанных на нитку, и вместе с ветром долетала до нас такая музыка, которой я никогда не слыхивал — какой-то грохот, бряцанье и звон металла. Сам я никогда не догадался бы, что это значит, но наши капралы и сержанты были опытные солдаты, и один из них со своей алебардой шел рядом со мной; это был человек, который мог все объяснить и дать совет.

— Это — тяжелая кавалерия, — сказал он. — Ты видишь эти две блестящих линии. Это значит, что

они в шлемах и в латах. Там идут «Королевские» или «Эннискиленские» или же «Туземные». Ты можешь слышать их барабаны и литавры. Французская тяжелая кавалерия превосходит нас силами. У них десять человек против одного нашего и все хорошие солдаты. Нужно будет стрелять прямо им в лицо или в лошадей. Помни об этом, когда их увидишь, а иначе четырехфутовая сабля проткнет тебе печень, и это послужит тебе хорошим уроком. Чу! Чу! Чу! Что это, опять прежняя музыка?

Когда он говорил эти слова, слышался где-то на востоке от нас

глухой грохот канонады; она звучала глухо и хрипло, подобно рычанию какого-нибудь кровожадного зверя, который замышляет лишить людей жизни. В эту самую минуту послышался позади крик: «Эй! Эй! Эй!» – и кто-то прокричал громовым голосом: «Пропустите пушки». Оглянувшись назад, я увидел, что находившиеся в арьергарде роты вдруг раздались и скатились по обе стороны в ров, и шестерня лошадей светло-каштановой масти, запряженных попарно, волоча животы по земле, въехала с громом в образовавшееся отверстие с двенадцатифунтовой пушкой, которая со скрипом катилась за ними. За ней

проехала и другая пушка, затем еще, — их было всех двадцать четыре; они проехали мимо нас с оглушительным шумом и стуком; солдаты в синих мундирах сидели на пушках и фургонах; возницы бранились; их бичи свистели в воздухе, у лошадей развевались по ветру гривы, швабры и ведра звенели, и воздух был наполнен грохотом и звоном цепей. Изо рвов слышался какой-то рев, — артиллеристы громко кричали; мы видели, что впереди нас катится какое-то серое яблоко, в котором мелькают десятка с два касок. Затем мы опять сомкнули ряды. Между тем грохот впереди нас слышался все громче и становился сильнее.

— Там три батареи, — сказал сержант. — Там батарея Буля и Уэббера Смита, а третья — новая. Раньше нас здесь проехали пушки и прежде этих, потому что вот следы девятифунтовой, а все остальные — двенадцатифунтовые. Если хочешь попасть в цель, то стреляй из двенадцатифунтовой, потому что девятифунтовая сделает из человека кашу, а двенадцатифунтовая вырвет его, как морковь. — И затем он стал рассказывать о тех ужасных ранах, которые он видел, так что у меня застыла в жилах кровь, и если бы вы натерли нам лицо пеплом из трубки, то и тогда бы мы так не побледнели. «Да, вы побледнеете и еще больше,

когда вам попадет в брюхо целая пригоршня к течи», — сказал он. И затем, когда я увидел, что некоторые из старых солдат смеются, я понял, что этот человек хочет; нас напугать, а потому и я начал смеяться так же, как и другие, но нельзя сказать, чтобы это был веселый смех.

Солнце было у нас почти над головами, когда мы остановились в маленьком местечке, которое называется Галь. Тут есть старый колодец с насосом, из которого я накачал себе целый кивер воды и выпил ее, и никогда мне не казалась такой приятной на вкус кружка шотландского эля. Тут мимо нас опять проехали пушки и Виванские

гусары, — три полка их; это были ловкие люди на хороших лошадях каштановой масти, так что на них было приятно смотреть.

Теперь грохот пушек становился все громче, и мои нервы были потрясены этим точно так же, как и в то время, когда я вместе с Эди видел бой купеческого корабля с каперскими судами. Он сделался теперь очень громким, и мне представлялось, что за ближним лесом идет сражение, но мой приятель сержант знал лучше меня, где это происходило.

— Это от нас за двенадцать, а может быть, и за пятнадцать миль, — сказал он. — Генерал знает, что мы не

нужны. Можете быть уверены в этом, а иначе мы не сделали бы привала здесь, в Гале.

То, что он сказал, оказалось верным, потому что через минуту после этого к нам приехал полковник с приказом, что мы должны поставить ружья в козлы и расположиться здесь биваком. Мы простояли тут целый день, между тем как мимо нас шли английские, голландские и ганноверские кавалерия, пехота и пушки. Адская музыка продолжалась вплоть до вечера, и ее звуки иногда возвышались до грома, а иногда понижались до рокота, и, наконец, около восьми часов вечера она

совсем прекратилась. Вы можете себе представить, как нам хотелось узнать, что все это значило, но мы были уверены, что герцог все сделает к лучшему, и поэтому мы вооружились терпением и ожидали, что будет дальше.

На следующий день утром бригада еще оставалась в Гале, но около полудня приехал от герцога ординарец. Мы опять двинулись вперед и, наконец, дошли до маленькой деревушки, которая называлась как-то вроде Брен, и тут мы остановились, и сделали это вовремя, потому что вдруг разразилась гроза, и проливной дождь превратил все дороги и поля в

болото и грязь. В этой деревне мы укрылись от дождя в ригах, и тут мы нашли двух солдат, которые забрели сюда, — одного из шотландского полка, носившего коротенькие юбки, а другого солдата из немецкого полка; и то, что они рассказали нам, было так же ужасно, как и погода.

Накануне этого дня Бони совершенно разбил пруссаков, а наши товарищи поневоле должны были защищаться от Нея, но, наконец, отбили его. Теперь это вам покажется старой неинтересной историей, но вы не можете себе представить, как мы обступили этих двух солдат в риге, как толкались и продирались вперед для того, чтобы

услыхать хотя бы одно слово из того, что они говорили, и как к тем, которые слышали, приставали, в свою очередь, те, которые не слышали рассказа. Мы то смеялись, то выпускали радостные крики или стоны, когда слышали о том, как встретил 44-й полк кавалерию, как обратились в бегство голландцы с бельгийцами, как уланы впустили в свое каре «Черных Стражей» и затем перебили их всех поодиночке. Но мы смеялись, слыша также, что уланы смяли 69-й полк и взяли одно из знамен. В заключение мы узнали, что герцог отступает для того, чтобы соединиться с пруссаками, и что будто он опять займет свою позицию

и даст большое сражение на том самом месте, где мы остановились. И мы скоро убедились в том, что этот слух верен, потому что к вечеру погода разгулялась, и мы все вышли на вершину холма для того, чтобы увидеть то, что можно было видеть. Было приятно смотреть на обширное пространство, занимаемое рожью и пастбищем, с жатвой наполовину зеленой и наполовину пожелтевшей; рожь была по плечо человеку. Нельзя было представить себе более мирной сцены: везде, куда бы вы не поглядели, за этими низкими волнообразными холмами, покрытыми рожью, вы могли бы видеть маленькие колокольни

деревенских церквей, вершины которых поднимались над тополями. Но как раз посередине этой прекрасной картины тянулся ряд идущих вперед людей. Одни из них были в красном, другие в зеленом, те в синем, а эти в черном. Они шли зигзагами по равнине и занимали все дороги; один конец был так близко к нам, что мы могли бы покричать им, когда они приставили свои ружья к склону холма налево от нас, а другой конец, насколько мы могли видеть, терялся вдаль в лесах. А затем на других дорогах мы видели запряженных цугом и выбивавшихся из сил лошадей, тусклый блеск пушек и солдат, употреблявших все

усилия и хлопотавших о том, чтобы помочь спицам колес вертеться в этой глубокой грязи. В то время, когда мы стояли тут, полк за полком и бригада за бригадой занимали позиции на поле, и солнце еще не зашло, а уже мы находились в линии, состоящей более чем из шестидесяти тысяч человек и преграждавшей Наполеону дорогу в Брюссель. Но полил дождь, и мы, солдаты 71-го полка, бросились опять в нашу ригу, где нам было гораздо лучше, чем большей части наших товарищей, которые лежали в грязи, а над ними до самого рассвета бушевала гроза.

Глава XII

Тень на земле

На другой день утром все еще шел мелкий дождь. По небу неслись темные облака, и дул сырой холодный ветер. Когда я открыл глаза, то мне показалось странным, что нынче я должен буду участвовать в сражении, хотя никто из нас не представлял себе, что это сражение будет таким, каким оно оказалось на самом деле. Но как только занялась заря, мы все были на ногах и

совершенно готовы, и, когда мы отворили ворота нашей риги, то услышали, что где-то вдали играет очень приятная для слуха музыка, какой мы еще не слыхивали. Мы стояли группами, прислушиваясь к ней. Это была очень приятная не предвещавшая ничего грозного и грустного музыка. Но наш сержант засмеялся, когда увидал, что она очень понравилась всем нам.

— Эта французская полковая музыка, — сказал он, — и если вы выйдете из риги, то увидите то, что, может быть, некоторым из вас никогда не придется больше увидеть.

Мы вышли на двор — эта прекрасная музыка все еще

отдавалась в наших ушах — и стояли на возвышении, находившемся за ригой. Внизу у откоса находилась хорошенькая маленькая ферма с черепичной крышей, обнесенная изгородью, и с садом, в котором росли яблони. Ее окружали солдаты в красных мундирах и высоких меховых шапках, которые работали, как пчелы: они пробивали отверстия в стене и загораживали двери.

— Это — легкие гвардейские роты, — сказал сержант. — Они будут удерживать эту ферму до тех пор, пока хоть один из них будет в состоянии пошевелить пальцем. Но посмотрите вон туда, и вы увидите огни во французском лагере.

Мы посмотрели и увидали за долиной на невысоком холме, на противоположной стороне, множество маленьких желтоватых огненных точек и черный дым, медленно поднимавшийся кверху в сыром воздухе. Там, по ту сторону долины, была другая ферма, и мы увидали, что около нее на небольшом холме вдруг появилась группа верховых, которые пристально смотрели на нас. Позади было около дюжины гусар, а впереди пять человек. Трое из них в касках и один с длинным прямым красным пером на шляпе, а последний — в низенькой фуражке.

— Ну, ей Богу же! — воскликнул

сержант, – это они! Это Бони, вон тот на серой лошади. Да, я бьюсь об заклад на месячное жалованье, что это он.

Я напрягал свое зрение, чтобы увидеть его, этого великого человека, тень которого покрывавшая всю Европу в продолжение двадцати пяти лет, упала также на нашу находившуюся в захолустье маленькую ферму, где мы занимались разведением овец, и отвлекла нас – меня, Эди и Джима – от той жизни, которую вели раньше нас наши родственники. Насколько я мог разглядеть, это был коренастый, широкоплечий человек, и он держал бинокль у глаз, широко расставив

свои локти. Я все еще пристально смотрел на него, когда услышал близко от себя чье-то дыхание. Это был Джим, глаза которого горели как два угля, и который высунул из-за моего плеча свое лицо.

– Это он, Джек, – прошептал он.

– Да, это – Бони, – сказал я.

– Нет, нет, это он. Это де Лапп или де Лиссак, или как его там зовут, черт бы его побрал. Это он.

Тогда я вдруг узнал его. Это был всадник с красным пером на шляпе. Даже находясь на таком расстоянии, я мог бы поклясться, что это был наклон его плеч и его манера держать голову. Я ухватился руками за рукав Джима: я заметил, что в нем при

виде этого человека закипела вся кровь, и он готов был наделать Бог знает каких глупостей. Но в эту минуту Бонапарт, как казалось, наклонился к де Лиссаку и что-то сказал ему. Вся эта группа тронулась и исчезла из глаз. Вслед за тем послышался пушечный выстрел, и белый дым батареи разостлался по склону холма. В ту же самую минуту в нашей деревне протрубили сбор, мы бросились разбирать свое оружие и заняли свои места. Был сделан залп по всей линии, и мы подумали, что началось сражение; но это произошло только оттого, что наши товарищи прочищали свои ружья, потому что их заряд мог отсыреть во

время этой дождливой ночи. С того места, на котором мы стояли, можно было видеть такое зрелище, ради которого стоило приехать сюда из-за моря. На нашем холме была точно шахматная доска красного и синего цвета, простиравшаяся до самой деревни, которая находилась от нас на расстоянии двух миль. Но находящиеся в строю солдаты передавали один другому, что было слишком много синих и слишком мало красных мундиров; накануне этого дня бельгийцы оказались слишком трусливыми, а целых двадцать тысяч их были нашими товарищами. Затем даже наши британские полки состояли

наполовину из ополченцев и новобранцев, потому что самые лучшие из наших старых полков, сражавшихся на Пиринейском полуострове, плыли по океану на транспортных судах. Они возвращались обратно после какой-то глупой ссоры, возникшей между нами и родственными американцами. Но, несмотря на это, мы могли видеть медвежьи шкуры гвардейцев — их было две сильные бригады — и шапки горцев, а также синие мундиры старого немецкого полка, красные линии бригады. Пака и бригады Кемпта, и впереди зеленые мундиры стрелков, — а мы знали, что бы ни случилось, эти

люди останутся на том месте, на котором они будут поставлены, и что у них был человек, который будет руководить ими и поставит на такое место, на котором они должны стоять.

Французов мы не видали, а видали только их мерцающие огоньки, да еще в разных местах несколько верховых в долинах между холмами; но когда мы стояли в ожидании, вдруг у них громко заиграла музыка, и вся их армия начала спускаться по низенькому холму, закрывавшему ее от нас; бригада шла за бригадой и дивизия — за дивизией, так что обширный склон холма, во всю его длину и

ширину, засинел от их мундиров и заблестел от их сверкающего оружия. Казалось, что им не будет конца, — они все выходили и выходили из-за холма, а наши солдаты стояли, между тем, опершись на свои ружья, курили трубки, смотрели вниз на эту огромную армию и слушали то, что рассказывали о французах сражавшиеся с ними прежде солдаты. Затем, когда пехота собралась в обширные густые массы, за нею покатились по склону холма их пушки, и это было красивое зрелище, когда они снимали их с передков и готовили к бою. Затем вниз по холму съехала рысью с горделивой осанкой кавалерия, по

крайней мере, тридцать полков, с перьями и в кирасах, со сверкающими саблями и колеблющимися пиками; они выстроились на флангах и в арьергарде длинными волнующими блестящими линиями.

— Вот они, эти молодцы! — воскликнул наш старый сержант. — Они так и рвутся в бой, поверьте моему слову. Видите ли вы вон те полки в высоких киверах немножко подальше фермы? Это гвардия. Ее двадцать тысяч, дети мои, и все солдаты на подбор, — люди, поседевшие в боях, которые всю свою жизнь только и делали, что сражались, с самых тех пор, как были

ростом не выше моих сапог. У них три человека против наших двух и две пушки против нашей одной и, клянусь Богом, они такие люди, что заставят вас, новобранцев, пожалеть о том, зачем вы не вернулись в Арджиль-Стрит, прежде чем уложат вас на месте.

Наш сержант был таким человеком, который не умел нас ободрить; но так как он после битвы при Корунне участвовал во всех сражениях, и у него висела на груди медаль с семью пряжками, то он имел право говорить так, как хотел.

Когда французы все выстроились на расстоянии ближе пушечного выстрела, то мы увидали

небольшую группу всадников, которые были в красном и блестели серебром и золотом; они быстро проехали между дивизиями, и когда они проезжали, то с обеих сторон слышались громкие приветственные крики, и мы могли разглядеть, что солдаты отдали им честь и махали руками. Через минуту после этого шум стих, и обе армии стояли одна против другой, храня мертвое молчание. Это было такое зрелище, которое я теперь часто вижу во сне! Затем вдруг среди солдат, находившихся как раз против нас, произошло какое-то движение; от плотной синей массы отделилась небольшая колонна, которая пошла,

уклоняясь то в ту, то в другую сторону по направлению к ферме, находившейся под нашими ногами. Она не прошла и пятидесяти шагов, как с английской батареи, находившейся влево от нас, грянула пушка, и началась битва при Ватерлоо.

Я не сумею описать вам битву, и, конечно, я находился бы далеко отсюда и не участвовал бы в этом сражении, если бы не случилось так, что наша судьба — судьба трех простых людей, пришедших сюда из шотландской пограничной области — не была замешана в ней так же, как судьба какого-нибудь короля или императора. Сказать по правде, я

узнал больше об этой битве из того, что я прочел о ней, чем из того, что видел сам, потому что много ли мог я видеть, когда у меня стоял с каждой стороны товарищ, а на самом конце ружья было большое облако белого дыма. Только из книг и из рассказов других людей я узнал о том, как повела атаку тяжелая кавалерия, как она наехала на знаменитых кирасиров и была изрублена в куски, не будучи в состоянии вернуться назад. Из того же источника я узнал все, относящееся к следовавшим одна за другой атакам, а также и о том, что бельгийцы обратились в бегство, а Пак и Кемпт держались твердо. Но о том, о чем я узнал сам, я

могу говорить только на основании
виденного нами в этот долго
тянувшийся день сквозь
разредившийся дым и в промежутках
между стрельбой, и вот об этом-то я
хочу рассказать вам. Мы находились
на правой стороне боевой линии и в
резерве, потому что герцог боялся,
что Бони обойдет его с этой стороны
и нападет на него с тыла; поэтому
наши три полка вместе с другой
британской бригадой и
ганноверцами были поставлены
здесь, чтобы быть на всякий случай
готовыми. Здесь были также и две
бригады легкой кавалерии, но
французская атака была направлена
на фронт, так что мы потребовались

уже вечером.

Английская батарея, сделавшая первый выстрел, продолжала стрелять влево от нас, а немецкая батарея также действовала непрерывно с правой стороны, так что мы были совсем закутаны дымом; но он не закрывал нас настолько, чтобы служить нам защитой от ряда находившихся напротив нас французских пушек, потому что десятка два ядер пролетели со свистом по воздуху и упали на землю как раз посреди нас. Когда я услышал их свист около моего уха, то у меня опустилась голова, как у человека, который хочет нырнуть в воду, но наш сержант толкнул меня в

спину рукояткой своей алебарды.

— Тебе не следует быть чересчур вежливым, — сказал он, — когда в тебя попадает ядро, то ты можешь один раз поклониться, и довольно.

Одно из этих ядер сбило с ног пять солдат и превратило их в какую-то кровавую массу; я видел его после этого лежащим на земле; оно было похоже на ножной мяч красного цвета. Другое попало в лошадь адъютанта, причем произвело такой звук, какой бывает тогда, когда камень шлепнулся в грязь; оно переломило ей спину и когда пролетело дальше, то лошадь лежала на земле и была похожа на лопнувшую ягоду крыжовника. Еще

три ядра упали дальше направо, и по той суматохе и крикам, какие поднялись там, мы могли догадаться, что все они попали в цель.

— Ах, Джемс, вы потеряли хорошую лошадь, — сказал майор Рид, находившийся как раз впереди меня, смотря с лошади на адъютанта, у которого все сапоги были в крови.

— Я заплатил за нее в Глазго пятьдесят фунтов стерлингов, чистыми денежками, — отвечал тот. — Как вы думаете, майор, не лучше ли солдатам лечь теперь, когда до нас стали долетать ядра?

— Фуй! — отвечал майор. — Они молодцы, Джемс, и это послужит им на пользу.

— Они вдоволь наглядятся на все это прежде, чем кончится сражение, — проворчал тот; но в эту минуту полковник Рейнель увидал, что стрелки и 52-й полк, находившиеся направо и налево от нас, спустились вниз, а потому нам было приказано растянуть линию. Мы были очень рады, когда слышали, что выстрел визжал точно голодная собака на расстоянии нескольких футов за нашими спинами. Но и теперь почти каждую минуту слышались глухие удары, какое-то шлепанье, затем следовали крики от боли и топанье сапогами по земле, и поэтому мы знали, что у нас большие потери.

Так как моросил мелкий

дождик, и дым не мог подниматься кверху в сыром воздухе, то только в те минуты, когда он немного рассеивался, мы могли видеть то, что происходило впереди нас, хотя по грохоту пушек мы могли доказать, что сражение шло по всем линиям. Теперь стреляли сразу из четырехсот пушек, и от такого грохота могла лопнуть барабанная перепонка. У всех нас после этого долгое время стоял в голове шум. Как раз напротив нас была поставлена на склоне холма французская пушка, и мы могли совершенно ясно видеть, как стреляли из нее солдаты. Это были маленькие, проворные люди в очень узких панталонах и высоких киверах

с большими прямыми перьями, которые торчали спереди; но они работали как овчары, которые стригут овец, — они приколачивали снаряд, банили пушку и стреляли. Когда я увидел их в первый раз, их было четырнадцать человек, но, наконец, их осталось только четыре, но они продолжали работать так же неустанно, как и прежде

Внизу, перед нами, была ферма, которая называлась Гугумон, и мы могли видеть, что там все утро шел ожесточенный бой, потому что стены, окна и фруктовый сад были в пламени и в дыму, и оттуда доносились до нас такие ужасные крики, каких мне никогда не

приходилось слышать прежде. Она была наполовину сожжена и разрушена ядрами; десять тысяч человек ломились в ворота; около четырех тысяч гвардейцев защищали ее утром и две тысячи вечером, и ни один француз еще не переступил за ее порог. Но как они дрались, эти французы! Их жизнь была для них все равно, что грязь под их ногами. Там был один — я как будто и сейчас вижу его перед собой — это довольно полный человек с красным лицом, на костыле. Он подошел совершенно один, прихрамывая, к боковым воротам Гугумона, начал стучать в них и закричал своим солдатам, чтобы они шли за ним. Он пробыл

тут пять минут, расхаживая взад и вперед перед наведенными на него дулами ружей, выстрелы из которых в него не попали, но, наконец, один брауншвейгский стрелок, находившийся в саду, выстрелил из винтовки и прострелил ему голову. И это был только один из многих, потому что в продолжение всего дня, когда французы не наступали целыми массами, то они подходили по двое и по трое, и на лицах у них было написано такое мужество, как будто бы вслед за ними шла целая армия.

Мы пролежали так все утро, смотря сверху вниз на бой при Гугумоне; но герцог вскоре увидал,

что справа бояться было нечего, и потому нашел для нас другое употребление.

Французы выдвинули своих застрельщиков дальше фермы, и они, засеv в незрелой ржи, стреляли в канониров, так что из шести орудий, находившихся влево от нас, прислуга трех из них была вся перебита и лежала вокруг них в грязи. Но герцог видел решительно все и в эту минуту подъехал к нам. Это был смуглый худой, но крепкого сложения человек с блестящими глазами, носом с горбинкой и большой кокардой на треуголке. За ним ехало человек двенадцать офицеров, и все они были так веселы, как будто бы охотились

за лисицей, но к вечеру из этих двенадцати человек не осталось ни одного в живых.

– Жаркое дело, Адамс, – сказал он, подъезжая к нам.

– Очень жаркое, ваша светлость, – отвечал наш генерал.

– Но я думаю, что мы можем выдержать их натиск. Ведь не можем же мы допустить, чтобы их застрельщики заставили замолчать нашу батарею. Переведите этих солдат на другое место, Адамс.

Только тут я узнал, какое необъяснимое чувство овладевает человеком, когда ему приказывают идти в бой. До сих пор мы только лежали на земле и нас убивали, а это

самое скучное дело в сражении. Теперь наступила наша очередь, и, клянусь вам, мы были вполне готовы к этому. Мы, то есть вся бригада, сразу вскочили на ноги и, выстроившись в четыре ряда, бросились на засеянное рожью поле так быстро, как только могли. Когда мы подходили, то застрельщики выстрелили в нас, а потом начали пробираться сквозь рожь точно перепела с опущенными вниз головами и согнутыми спинами, волоча за собой ружья. Половина из них ушла от нас, но остальных мы догнали, — сначала офицера, потому что он был очень полным человеком и не мог бежать быстро. У меня

закружилась голова, когда я увидал, что справа Роб Стюарт вонзил свой штык в широкую спину солдата, и тот завыл, точно грешник в аду. На этом поле никому не было пощады, и все они были перебиты. Наши солдаты рассвирепели, и не удивительно, потому что эти осы жалили нас все утро, а мы были не в состоянии даже видеть их.

Теперь, когда мы прошли до самого дальнего конца этого засеянного рожью поля, мы очутились прямо перед дымом: тут стояла на своей позиции вся французская армия, от которой нас отделяли только два луга и узкая проселочная дорога. Увидев

французов, мы испустили крик, и, если бы только нам дана была воля, мы бросились бы на них в атаку, потому что глупые молодые солдаты никогда не подумают о том, какой может быть вред, пока не убедятся в этом собственным опытом. Но когда мы подвигались вперед, рядом с нами ехал рысью на своей лошади и герцог, и вот он крикнул что-то нашему генералу. Вслед за этим все офицеры выехали вперед и своим оружием преградили нам дорогу. Заиграли сигнальные рожки, началась толкотня и давка, сержанты бранились и распахивали нас своими алебардами и скорее, чем успею написать эти строки, вся бригада

выстроилась в три небольших правильных каре с торчащими со всех сторон штыками, как это называется — эшелоном, так, чтобы каждое из них могло стрелять, не задевая другого.

Это было для нас спасением, что легко мог понять и я, хотя я и был еще молодым солдатом. На нашем правом фланге был низкий отлогий холм, и из-за него слышался такой звук, который можно было сравнить ни с чем другим, как только с шумом прибоя волн на бервикском берегу, когда ветер дует с востока. Вся земля содрогалась от этого глухого грохота и им был наполнен весь воздух.

— Смелее, 71-й полк, ради Бога

смелее! — кричал за нами голос нашего полковника, но перед нами не было ничего, кроме отлогого зеленого ската, покрытого травой и испещренного ромашкой и одуванчиками.

И вдруг из-за холма сразу показались восемьсот медных касок с длинными хвостами из конских волос, развевающимися по воздуху, и затем восемьсот свирепых лиц выставились вперед и, сверкая глазами, смотрели на нас между ушами такого же числа лошадей. С минуту можно было видеть перед собой только блеск кирас, потрясаемые в воздухе сабли, развевающиеся по воздуху гривы

лошадей, их раздувающиеся красные ноздри и слышать топот копыт; затем послышался ружейный залп, и наши пули застучали, ударяясь об их кирасы, точно град который стучит в окна. Я выстрелил вместе с остальными и затем как можно скорее забил новый заряд, стараясь разглядеть сквозь дым, что происходило передо мной: я мог разглядеть что-то такое длинное и тонкое, что медленно двигалось взад и вперед.

Нам дан был рожком сигнал прекратить стрельбу; порыв ветра рассеял окутывавший нас дым, и тут мы могли увидеть, что случилось.

Я так и ждал, что половина

этого кавалерийского полка лежала на земле; но потому ли что французов предохранили их кирасы, или же потому, что мы, молодые солдаты, были в нервном состоянии, увидав, что они приближаются, мы выстрелили слишком высоко, и наш залп не причинил им большого вреда. Около тридцати лошадей лежало на земле, три из них на расстоянии десяти ярдов от меня и средняя лежала на спине с поднятыми кверху четырьмя ногами; одна из этих ног и была темдвигающимся предметом, который я видел сквозь дым. Затем было около восьми или десяти человек убитых и приблизительно столько же раненых,

которые еще не могли прийти в себя и сидели на траве, хотя один кричал изо всей силы: «Vive l'Empereur!» Другой солдат, который был ранен в бедро — он был высокого роста и с черными усами — прислонился к своей убитой лошади, и, подняв с земли свою винтовку, продолжал стрелять с таким хладнокровием, как будто бы он стрелял на приз и попал прямо в лоб Августу Мейерсу, стоявшему от меня только через двух человек. Затем он протянул свою руку, чтобы поднять другу винтовку, которая лежала недалеко от него, но прежде, чем он поднял ее, громадный ростом Годсон, самый сильный солдат во всей гренадерской

роте, выбежал вперед и всадил ему штык в шею, что было очень жаль, потому что он был очень красив.

Сначала я думал что за дымом не было видно, как кирасиры обратились в бегство; но они были такие люди, которые сделали бы это только в крайнем случае При нашем залпе их лошади шарахнулись в сторону, и они попали под выстрелы двух других каре, находившихся за ними. Затем они проскочили сквозь изгородь, и, наехав на полк ганноверцев, выстроенный в линию, они поступили с ними так, как поступили бы с нами, если бы мы не выказали такого проворства, и в одну минуту изрубили бы всех солдат в

куски. Было ужасно смотреть на то, как большие ростом немцы бегали и кричали, между тем как кирасиры приподнимались на стременах для того, чтобы лучше размахнуться своими длинными тяжелыми саблями, которыми они резали и кололи без милосердия. Я не думаю, что из всего этого полка осталось в живых хотя бы сто человек. После этого французы вернулись и проехали перед нашим фронтом; они кричали нам и махали своими саблями, которые были красны от крови до самой рукоятки. Это они делали для того, чтобы заставить нас стрелять, но полковник был слишком опытный воин, потому что мы не

могли принести им большого вреда на таком расстоянии, а они очутились бы посреди нас прежде, чем мы успели бы вторично зарядить ружья.

Эти верховые скрылись опять за холмом по правую руку от нас, и мы знали очень хорошо, что если бы мы разомкнули каре, то они моментально налетели бы на нас. С другой стороны, было трудно оставаться в таком положении, потому что французы что-то сказали на батарее, состоящей из двенадцати пушек, и ее устави́ли на расстоянии нескольких сотен ярдов от нас и стали стрелять так, что ядра пролетали у нас над головами и

попадали в середину нашего каре, — это называется беглым огнем. А один из их артиллеристов вбежал по склону на вершину холма и на глазах у всей бригады воткнул в сырую землю кол для того, чтобы он служил им указанием, и ни один из солдат не выстрелил в него, — каждый надеялся, что это сделает другой. Прапорщик Сэмпсон, бывший самым младшим офицером в полку, выбежал из каре и вытащил из земли кол, но так же быстро, как щука, которая гонится за пискарем, по холму въехал какой-то улан и нанес прапорщику сзади такой удар пикой, что не только ее острие, но и ствол прошли насквозь между второй и третьей

пуговицами мундира молодого человека. «Елена! Елена!» — воскликнул он и упал ничком на землю, между тем, как улан, простреленный, как решето, ружейными пулями, свалился с лошади около него, все еще держа в руках свое оружие, так что они лежали вместе, и смерть соединила их такими ужасными узами.

Но так как батарея открыла огонь, то нам не было времени подумать о чем-нибудь другом. Каре очень хорошо для того, чтобы встретить кавалерию, но это самый неудобный строй, когда летят пушечные ядра, что мы скоро узнали, когда они начали оставлять среди нас

кровавые следы и, наконец, нам надоело слышать это постоянное шлепанье, тот звук, который производит твердое железо, ударяясь о живое тело с кровью. Через десять минут после этого мы подвинули наше каре на сто шагов вправо; но мы оставили позади нас другое каре, потому что на том месте, на котором мы стояли, остались убитыми сто двадцать человек и семь офицеров. Но потом пушки снова отыскиали нас, и мы попробовали выстроиться в линию, но в ту же минуту кавалерия – теперь это были уланы – бросились на нас в атаку по склону холма.

Я должен вам сказать, что мы обрадовались, когда услышали топот

лошадей: мы знали, что благодаря этому прекратится на некоторое время пушечный огонь, и это даст нам возможность отразить нападение. И на этот раз мы отразили его с достаточной силой, потому что мы были хладнокровны, злы и свирепы; что касается до меня, то я не обращал большого внимания на этих кавалеристов, как будто бы это были овцы в Корримюре. На войне человек, по прошествии некоторого времени перестает бояться за собственную шкуру. Чувствуешь, что непременно нужно заставить кого-нибудь заплатить за то, что пришлось испытать самому. На этот раз мы отплатили уланам,

потому что у них не было кирас, которые бы могли защитить их, и семьдесят человек из числа их мы выбили нашим залпом из седла. Может быть, это и не доставило бы нам такого удовольствия, если бы мы видели семьдесят матерей, плачущих о своих сыновьях; но когда люди сражаются, то они делаются похожи на диких зверей и ни о чем не думают точно так же, как два щенка-бульдога, когда они схватывают один другого за горло.

Но наш полковник распорядился очень умно: рассчитывая задержать кавалерию минут на пять, он выстроил нас в линию и прежде, чем начали стрелять пушки, он отодвинул

нас дальше ко впадине холма, так, чтобы в нас не могли попадать ядра. Благодаря этому, мы могли перевести дух, а это было нам необходимо, потому что наш полк таял, точно ледяная сосулька на солнце. Но если приходилось плохо нам, то другим было и еще хуже. В это время среди бельгийцев, которых насчитывалось пятнадцать тысяч, было большое замешательство, и в нашей линии образовались также большие промежутки, через которые свободно проехала французская кавалерия. Затем у французов было больше пушек, чем у нас, и они были гораздо лучше наших; кроме того, наша тяжелая кавалерия была изрублена в

куски, так что нас дело не радовало. С другой стороны, Гугумон, эта обогренная кровью развалина, был еще в наших руках, — там все британские полки держались крепко; хотя, если сказать правду, — что должен делать всякий человек, — кое-где среди синих мундиров видны были красные, которые подвигались к задним рядам; но это были молодые солдаты и отставшие — трусливые люди, каких можно найти во всякой армии; я опять повторяю, что здесь не отступил ни один полк. Сами мы могли видеть очень мало из того, что происходит во время сражения; но надо было быть слепым, чтобы не знать, что за нами

все поля были покрыты
обратившимися в бегство солдатами.
Но когда начали показываться
пруссаки — хотя мы, находясь на
правом фланге ничего не знали об
этом — то Наполеон выставил против
них 20000 своих солдат, которые
бросились на них, и те отступили,
так что мы остались опять одни. Но
обо всем этом мы ничего не знали, и
было такое время, когда французская
кавалерия в большом числе
находилась между нами и остальной
армией, и мы уже подумали, что
только одна наша бригада и уцелела,
а потому твердо решились продать
свою жизнь как можно дороже. Был
уже пятый час пополудни, а мы еще

ничего не ели; у большей части из нас со вчерашнего вечера не было куска во рту и, кроме того, дождь промочил нас насквозь. Он моросил целый день, но в последние часы нам некогда было подумать ни о погоде, ни о том, что мы голодны. И вот мы начали смотреть вокруг себя, подтягивая наши пояса и спрашивать, кто из нас ранен и кто уцелел. Я был рад увидеть Джима, у которого лицо совсем почернело от пороха; он стоял справа от меня, опершись на свое ружье. Он увидел, что я смотрю на него, и крикнул мне, желая узнать, не ранен ли я.

— Нет, не ранен, Джим, — ответил я.

– Мне кажется, что я пустился в безумное предприятие, – сказал он с мрачным видом, – но дело еще не кончено. Клянусь Богом, или я его убью, или он меня убьет.

Бедный Джим день и ночь думал о своей обиде и, сказать по правде, мне показалось, что он от этого помешался, потому что, когда он говорил, у него был в глазах какой-то особенный блеск, какого я никогда не видал ни у кого. Он всегда принимал к сердцу всякие пустяки, и я был уверен, что с тех пор, как его бросила Эди, он не мог более владеть собой.

В это время мы увидели два поединка, которые, как мне

рассказывали, происходили довольно часто в сражениях и в старые годы, прежде чем солдат приучили драться массами. Когда мы стояли во впадине, то на возвышении перед нами проскакали, прищпоривая своих лошадей, какие-то два всадника; они мчались во весь опор. Первый из них был английский драгун; он летел вперед, склонив свое лицо к гриве лошади; за ним гнался французский кирасир, старый седой солдат на своей огромной черной лошади, которая сильно стучала копытами. Когда они мчались таким образом, то наши солдаты подняли насмешливый крик: нам было стыдно, что англичанин

хочет ускакать от француза, но когда они пролетели перед нашим фронтом, то мы увидали, отчего это происходило. Драгун уронил свою саблю и был совершенно безоружным, между тем как его враг совсем настигал его, так что ему было нельзя добыть себе где-нибудь оружие. Наконец, может быть, задетый за живое нашими насмешками, он решился добыть его во что бы то ни стало. Увидав, что около одного убитого француза лежит пика, он быстро повернул свою лошадь в сторону, пропустил своего врага вперед, затем, ловко спрыгнув с седла, схватил пику. Но и другой был тоже не промах и налетел

на него с быстротой молнии. Драгун бросился на француза с пикой, но тот отклонил ее и саблей разрубил ему плечо. Все это произошло в одну минуту, и француз поехал рысью вверх по холму; обернувшись к нам лицом, он оскалил свои зубы, точно огрызающаяся собака.

В первом поединке победа была на стороне французов, но в следующем отличились мы. Они выдвинули вперед линию стрелков, огонь которых был направлен не против нас, а против находившихся справа и слева от нас батарей; но мы выслали две роты 95-го полка, чтобы задержать их. С обеих сторон слышался страшный треск, потому

что как те, так и другие стреляли из ружей. В числе французских стрелков был один офицер – высокий и худощавый, в плаще, накинутом на плечи, и когда наши солдаты выступили вперед, он выбежал из строя и стоял между двумя сторонами в такой позе, какую принял бы фехтовальщик – с поднятой кверху саблей и откинутой назад головой. Я как сейчас вижу его, стоящего с опущенными ресницами и какой-то насмешливой улыбкой на лице. Увидев это, младший офицер наших стрелков – молодой человек, красивый собой и высокого роста, выбежал вперед и стремительно бросился на него с одной из тех

странных кривых сабель, какие бывают у стариков. Они столкнулись точно два барана – потому что оба побежали друг к другу – оба они упали от толчка, но француз лежал под ним и не мог подняться. Наш офицер сломал об него свою саблю, но клинок сабли его врага прошел сквозь его левую руку; так как он был сильнее своего противника, то ему удалось добить его зубчатым обломком клинка своей сабли. Я так и думал, что после этого его застрелят французские стрелки, но ни один из них не спустил курка, и он вернулся к своей роте с одной саблей, которая прошла сквозь его левую руку, а в правой он держал

обломок другой.

Глава XIII

Акт прекращается

Когда я вспоминаю об этом сражении, то мне всего страшнее кажется то, что на каждого из моих товарищей оно произвело различное действие, потому что некоторые вели себя в этом случае так, как будто бы они сидели у себя дома за обедом, и оно не возбуждало в них ни любопытства, ни удивления, другие же, с первого пушечного выстрела до последнего все время бормотали

молитвы, трети так бранились и выкрикивали такие проклятия, что тех, кто их слышал, продирали мороз по коже. Так, например, один из них, тот, который стоял слева от меня Майк Тредингем, который всем надоедал рассказами о своей тетушке, старой деде, Сарре – о том, что она завещала те деньги, которые хотела отдать ему, на приют для детей погибших на море матросов. Он, Бог знает сколько раз, рассказывал мне эту историю, но когда кончилось сражение, то он побоялся, что во весь этот день не промолвил ни слова. Что же касается меня, то я не могу теперь сказать, говорил я или нет, но, я помню, что

мой ум и моя память были яснее, чем когда-либо, и я все время думал о моих стариках и о доме, о кухне Эди с ее смелыми бегающими глазками, о де Лиссаке с его кошачьими усами, обо всем том, что произошло в Уэст-Инче и благодаря чему мы очутились на равнинах Бельгии и служили мишенью для двухсот пятидесяти пушек.

Во все это время грохот пушек был ужасным, но они вдруг замолкли, и это было похоже на то, когда во время грозы замолкает на минуту гром, но так и ждешь, что вдруг раздастся удар, который был сильнее всех предыдущих ударов. Был еще слышен сильный шум на

одном из отдаленных флангов, где подвигались вперед пруссаки, но это было за две мили от нас. Остальные батареи, как французские, так и английские, молчали, и дым рассеялся настолько, что обе армии могли немного видеть одна другую. Возвышенность, на которой мы стояли, представляет собой ужасное зрелище, потому что на том месте, где прежде находилось немецкое войско, были видны только там и сям отдельные кучки солдат в красных мундирах и линии в зеленых мундирах, между тем как массы французов казались такими же плотными, какими были прежде, хотя, конечно, мы знали, что они

потеряли не одну тысячу в этих атаках. Мы слышали у них громкие веселые крики, и затем все их батареи сразу так загрохотали, что в сравнении с этим грохот выстрелов в начале сражения казался слишком слабым. Теперь грохот этот был вдвое громче, потому что всякая батарея подвинулась вдвое ближе, в упор, а спереди и сзади каждой батареи были огромные массы кавалерии для того, чтобы защищать ее от атаки.

Когда раздался этот адский грохот, который совершенно оглушил нас, не было ни одного солдата, даже мальчика-барабанщика, который не понял бы, что это значит. Это было последнее сделанное Наполеоном

усилие, чтобы уничтожить нас.

До темноты оставалось только два часа, и если бы только мы могли продержаться до этого времени, то все пошло бы хорошо. Умирая от голода и совершенно изнемогая, мы просили Бога только о том, чтобы у нас хватило силы заряжать ружья, колоть врага, стрелять в него и биться до тех пор, пока хоть один из нас останется в живых. Пушечные выстрелы Наполеона не могли сделать нам большого вреда, потому что мы лежали ничком, и мы в одну минуту могли представить из себя массу штыков в том случае, если бы на нас опять напала бы его кавалерия. Но среди грома пушек

вдруг слышались какие-то более резкие звуки, как будто бы что-то рассеяло воздух и подвигалось со стуком, — это был какой-то топот, какой-то наводящий ужас шум.

— Они идут в атаку! — закричал какой-то офицер. — На этот раз они хотят атаковать нас по-настоящему.

И в это время, когда он говорил это, мы увидели нечто страшное. Какой-то француз, в мундире гусарского офицера, подскакал к нам галопом на маленькой лошадке. Он кричал, что есть духу: «Vive le roi! Vive le roi!» — и это означало, что он был дезертиром, так как мы были на стороне короля, а он — на стороне императора. Проезжая мимо нас, он

крикнул по-английски: «Гвардия идет! Гвардия идет!» и потом исчез за арьергардом подобно древесному листу, гонимому бурей. В ту же самую минуту к нам подъехал адъютант, и, надо сказать правду, что я ни у кого не видел такого красного лица, какое было у него.

— Вы должны задержать их, а иначе мы погибли! — закричал он генералу Адамсу, так что вся наша рота могла слышать его слова.

— Как идут дела? — спросил генерал.

— Из шести тяжелых полков остались только два слабых эскадрона, — отвечал он и затем начал смеяться, как человек, который

не может сдержатъ себя, потому что у него расхопились нервы.

— Может быть, вы пожелаете соединиться с нашим авангардом? Пожалуйста, считайте себя одним из наших, — сказал генерал с поклоном и улыбкой, как будто он пригласил его на чашку чая.

— Мне будет очень приятно, — отвечал тот, снимая с головы шляпу; через минуту после этого все наши три полка соединились, и бригада выдвинулась на четыре линии из впадины, где мы лежали, изображая собой каре, по направлению к тому месту, где мы видели французскую армию.

Теперь ее почти совсем не было

видно; можно было видеть только красное пламя, которое изрыгали пушки, и которое вдруг вспыхивало среди облаков дыма, и черные фигуры, которые наклонялись, сутились, чистили пушки швабрами, банили их – работали, точно черти, исполняя эту адскую работу. Но за этим облаком дыма становились все слышнее и слышнее эти стук и шум рассекаемого воздуха, смешанные с громкими криками и топотом многих тысяч ног. Затем показалась сквозь дым какая-то большая черная масса, и нельзя было разобрать, что это такое; наконец, мы могли разглядеть, что это были сто человек, идущих в ряд, которые быстро

продвигались к нам в своих высоких меховых шапках с блестящими бляхами надо лбом. За этой сотней шла еще сотня, за ней следующая сотня и так далее, сотня за сотней; эта огромная колонна выходила из дыма, стоявшего в воздухе от пушечных выстрелов, и казалось, что ей не будет конца. Впереди шла цепь застрельщиков, а за ними барабанщики, и все они шли, как-то подпрыгивая; по бокам двигались плотной толпой офицеры; они махали своими саблями и весело кричали. Впереди ехало также двенадцать человек верхом; они кричали все вместе, и один из них поднял высоко свою шляпу на острие

сабли. Я опять повторяю, что никогда и нигде не сражались так храбро солдаты, как в этот день французы.

Надо было только дивиться на них, потому что, когда они подвинулись на известное расстояние, они ушли вперед от своих собственных пушек, так что те не могли подать им помощи, а между тем очутились перед двумя батареями, которые стояли целый день справа и слева от нас, и мы видели, как длинные красные линии пробегали вдоль по черной колонне по мере того, как она подвигалась вперед. Они были так близко к нашим пушкам и шли такими сомкнутыми рядами, что всякий

выстрел пробивал насквозь их десять рядов, но, несмотря на это, ряды их снова замыкались, и они шли вперед так свободно и с такой отвагой, что на них было любо-дорого смотреть. Голова их колонны направлялась прямо на нас, между тем как 95-й полк приходился против одной стороны колонны, и 52-й – против другой.

Я всегда думаю, что если бы мы стали ждать, то гвардия разбила бы нас в пух и прах, потому что, как могла бы состоящая из четырех рядов линия устоять против такой колонны? Но в эту самую минуту Кольбэрн, полковник 52-го полка, развернул свой правый фланг так,

чтобы выставить его против одной стороны колонны, и это заставило французов остановиться. В эту минуту линия их фронта находилась на расстоянии сорока шагов от нас, и мы могли хорошо разглядеть французов. Мне сделалось смешно, когда я вспомнил о том, что всегда считал французов людьми небольшого роста, потому что в первой роте не было ни одного солдата, который не мог бы поднять меня с земли, как будто бы я был ребенком, а от своих высоких шапок они казались еще выше. Это были суровые солдаты с крепкими мускулами и сморщенными лицами, с нахмуренными бровями, что

придавало им свирепое выражение, и с торчавшими, как щетина, усами. И когда я стоял, положив палец на курок и дожидаясь команды стрелять, я случайно взглянул на офицера, который ехал верхом, держа свою шляпу на сабле, я увидел, что это был де Лиссак.

Но не один я узнал его; его увидал также и Джим. Я слышал, как он вскрикнул, и увидал, что он вне себя бросился на французскую колонну; и тогда с быстротой молнии вслед за ним бросилась и вся бригада; как офицеры, так и солдаты атаковали гвардейцев с фронта, тогда как наши товарищи напали на них с флангов. Мы ждали приказа, а теперь

все подумали, что и он был уже дан; но даю вам честное слово, что когда мы атаковали старую гвардию, то на самом деле нас повел в атаку Джим Хорскрофт.

Бог знает, что произошло в эти пять минут, когда все были вне себя. Я помню, что приставил свое ружье к какому-то синему мундиру и спустил курок, но что солдат не мог упасть, потому что его поддерживала толпа; затем я увидел какое-то ужасное пятно на сукне, которое потом задымилось, как будто бы оно загорелось; после этого в драке меня толкнули прямо к двум огромного роста французам и так стиснули всех нас троих, что мы не могли поднять

оружия. Один из них, с очень большим носом, высвободил свою руку и схватил меня за горло; тут я почувствовал, что перед ним не больше, как цыпленок. «Rendez-vous, coguan, rendez-vous!» (Сдавайся, негодяй, сдавайся) – сказал он, но в это самое время с криком опустил руку, потому что кто-то проколол ему штыком живот. В первые минуты этого столкновения почти не было слышно выстрелов, но слышались только удары ружейных прикладов о стволы, крики раненых и громкая команда офицеров. И затем вдруг французы начали отступать – медленно, неохотно, шаг за шагом, но все-таки отступать. Ах! За все, что

мы пережили, нас вознаградил тот восторг, который овладел нами, когда мы увидали, что они начинают отступать. Передо мной был один француз с резкими чертами лица и черными глазами, который заряжал свое ружье и стрелял из него так спокойно, как будто бы он был на ученье, метясь в кого-нибудь и сначала осматриваясь, чтобы выбрать офицера. Я помню, я подумал, что если я убью такого хладнокровного солдата, каким был он, то окажу этим большую услугу нашим, и вот я бросился на него и всадил в него мой штык. Когда я колол его штыком, то он повернулся и выстрелил прямо мне в лицо, и от пули остался у меня

на щеке рубец, который останется у меня до самой смерти. Я насел на него, когда он упал, а на меня навалились двое других, так что я чуть не задохся в этой куче. Когда, наконец, я высвободился и протер себе глаза, которые были засыпаны порохом, я увидел, что колонна рассыпалась и составились кучки солдат, которые или обратились в бегство, чтобы спасти жизнь, или же бились грудь с грудью, делая тщетные усилия, чтобы остановить бригаду, которая все подвигалась вперед. Я испытывал такое ощущение, что к моему лицу как будто бы приложили раскаленное докрасна железо; но я мог владеть

руками и ногами, и, перепрыгивая через лежащих на земле убитых и изувеченных солдат, я пустился догонять свой полк и присоединился к нему на правом фланге.

Тут был старый майор Эллиот. Он ходил, прихрамывая, потому что под ним была убита его лошадь, но сам он не пострадал.

Увидев, что я подхожу, он кивнул мне головой, но был слишком занят, чтобы говорить со мной. Бригада все двигалась вперед, генерал ехал передо мной, смотря назад через плечо на британскую позицию.

— Общего наступления нет, — сказал он, — но я не отступлю.

— Герцог Веллингтон одержал

большую победу, — закричал торжествующим тоном адъютант и затем, не сдержавшись, прибавил — если бы только этот дурак захотел идти вперед! — Услышав такие слова, все мы, бывшие во фланговой роте, принялись смеяться.

Но теперь всякий из нас мог видеть, что ряды французской армии расстроены. Те колонны и эскадроны, которые стояли целый день такими плотными массами, представляли теперь нестройную толпу по краям, а вместо цепи застрельщиков во фронте, было теперь немного отставших в арьергарде. Ряды гвардии редели перед нами по мере того, как мы

подвигались вперед, и мы увидали двенадцать пушек, которые были направлены прямо против нас, но мы в одну минуту бросились на них, и я видел, как младший офицер, следивший за тем, который был убит уланом, писал на них куском мела число 71 большими цифрами, точно какой-нибудь мальчишка-школьник. В эту минуту мы услышали за собой громкие радостные крики и увидали, что вся британская армия спускалась с вершины холма и наступала на остатки неприятельской армии. С шумом и стуком подвигались также и пушки и наша легкая кавалерия — вся, сколько ее ни осталось — пошла вместе с нашей бригадой на правом

фланге. После этого уже не было сражения. Наша армия шла вперед без всякой задержки и, наконец, заняла ту самую позицию, на которой утром стояли французы. Мы взяли их пушки, их пехота была рассеяна по всей равнине, и одна только их храбрая кавалерия могла сохранить некоторый порядок и уехать стройными рядами с поля сражения. Наконец, в то самое время, когда начала уже надвигаться ночь, наши измученные и умирающие от голода солдаты могли передать дело преследования пруссакам, а сами сложили в кучу свое оружие на той земле, которую завоевали. Вот все, что я видел во время битвы при

Ватерлоо и что могу рассказать вам о ней. Прибавлю только то, что в этот день вечером мне был дан на ужин ржавый хлеб весом в два фунта с соответствующим количеством солонины, и, кроме того, я получил большой кувшин красного вина, так что мне пришлось проделать новую дырочку на конце моего пояса, да и то он был натянут, так туго, как обруч на бочонке. После этого я лег на солому, на которой растянулись остальные солдаты нашей роты, и сейчас же заснул мертвым сном.

Глава XIV

Счет убитых

Уже рассвело, и первые слабые лучи света стали прокрадываться сквозь длинные узкие щели в стенах риги,' где мы ночевали, когда кто-то сильно потряс меня за плечо, и я вскочил на ноги. Мне представилось спросонья, что на нас напали кирасиры, и я схватился за алебарду, которая была приставлена к стене; но когда вслед за этим я увидел длинные ряды спящих, то вспомнил, где я

нахожусь. Но скажу вам, что я очень удивился, когда увидел, что меня разбудил не кто иной, как сам майор Эллиот. У него был очень серьезный вид, а за ним стояли два сержанта, которые держали в руках длинные полоски бумаги и карандаши.

— Проснись, паренек, — сказал майор со своей прежней непринужденной манерой, точно оба мы с ним были опять в Корримюре.

— Что вам угодно, майор? — пробормотал я.

— Я хочу, чтобы ты пошел вместе со мной. Я сознаюсь, что на мне лежит известного рода обязанность по отношению к вам двоим, потому что это я увел вас из родительского

дома. Джим Хорскрофт пропал.

Услышав такие слова, я вздрогнул, потому что, мучимый голодом и, изнемогая от усталости, я ни разу не вспомнил о моем приятеле с самых тех пор, как он бросился на французскую гвардию, а за ним последовал весь наш полк.

– Я иду теперь на поле считать убитых, – сказал майор, – и если хочешь идти со мной, то я буду очень рад.

Итак, мы отправились – майор, два сержанта и я; но, о, какое это было ужасное зрелище! – до такой степени ужасное, что даже теперь, когда после этого прошло так много лет, я не желал бы распространяться

о нем. На все это было страшно смотреть в пылу битвы; но теперь в это холодное утро, когда не слышно было ни криков «ура», ни барабанного боя, ни сигнального рожка, зрелище это предстало перед нами во всем своем ужасе. Оно было похоже на огромную лавку мясника, где несчастные солдаты были распотрошены, разрублены на куски и раздроблены, как будто бы мы хотели насмеяться над образом и подобием Божиим. Здесь, на земле, можно было видеть все стадии вчерашней битвы — убитых пехотинцев, которые лежали четырехугольниками, а вокруг них убитых кавалеристов, которые

напали на них, а наверху, на склоне холма, лежали артиллеристы около их испорченного орудия. Гвардейская колонна оставила после себя тянувшуюся по всему полю полосу, похожую на след улитки, и во главе ее синие мундиры лежали кучей на красных, — этот ужасный красный ковер лежал здесь еще прежде, чем французы начали отступать.

И когда я дошел до этого места, то первое, что бросилось мне в глаза, был сам Джим. Он лежал врастяжку на спине с лицом, обращенным к небу, и казалось, что от него отошли все земные страсти и печали, так что теперь он был похож на прежнего Джима, такого, каким я много раз

видел его в кровати в то время, когда мы были с ним школьными товарищами. Увидав его, я вскрикнул от огорчения; но когда я потом опять посмотрел на его лицо и увидел, что оно сделалось таким веселым после смерти, каким я не надеялся увидеть его при жизни, что я понял, что о нем не следует плакать. Его грудь была проколота двумя французскими штыками, и он умер моментально, без страданий, судя по той улыбке, которая была у него на лице.

Мы с майором приподняли его голову, в надежде, что может быть он еще жив, и тут я вдруг услышал около себя хорошо знакомый мне голос. Это говорил де Лиссак, который

сидел, опершись локтем на убитого гвардейца; он был закутан в большой синий плащ, и около него лежала на земле его шляпа с большим красным пером. Он был очень бледен; под глазами у него были синяки, но, за исключением этого, он остался все таким же как и прежде — со своим остроконечным тонким носом, торчащими усами, с плотной остриженной головой, на маковке которой просвечивала плешь, Его ресницы все опускались, так что из-под них почти не было видно его блестящих глаз.

— Эй, Джек! — закричал он. — Я никак не думал, что встречу вас здесь, хотя я мог бы об этом

догадаться, когда увидал вашего друга Джима.

— Это вы и были причиной нашего несчастья, — сказал я.

— Та, та, та! — воскликнул он, выражая этим, как и прежде, свое нетерпение. — Что предназначено каждому из нас, то и должно случиться. Когда я был в Испании, то там научился верить в судьбу. Это судьба послала вас сюда сегодня утром.

— У вас на совести лежит кровь этого человека, — сказал я, положив руку на плечо убитого Джима.

— А моя кровь на его совести. Значит, мы с ним по квитались. Говоря это, он распахнул свой плащ,

и я увидал с ужасом, что у него на боку висел большой черный сгусток крови.

— Это моя тринадцатая и последняя рана, — сказал он с улыбкой. — Не можете ли вы дать мне напиться из вашей фляжки?

У майора была разбавленная водой водка. Де Лиссак начал пить ее с жадностью. Его глаза оживились, и на бледных щеках показался легкий румянец.

— Это дело Джима, — сказал он. — Я услышал, что кто-то называет меня по имени, а это он приставил свое ружье к моему мундиру. И в то время, когда он стрелял, двое из моих солдат прикололи его. Да, конечно, Эди

стоит этого! Раньше, чем через месяц вы будете в Париже, Джек, и вы увидите ее. Вы найдете ее в доме № 11, на улице Мирамениль, около Маделены. Передайте ей это известие поосторожнее, Джек, потому что вы не можете себе представить, как она любила меня. Скажите ей, что все мое имущество находится в двух черных сундуках, и что ключ от них у Антуана. Вы этого не забудете?

— Буду помнить.

— А что ваша маменька? Я надеюсь, что вы ее оставили в добром здоровье? А ваш папенька? Пожалуйста, засвидетельствуйте им мое почтение.

Даже и теперь, когда он был так близок к смерти, он по-прежнему поклонился и помахал рукой, как будто бы посылая свой привет моей матери.

— Наверно, — сказал я, — ваша рана не так опасна, как вы думаете. Я могу привести к вам нашего полкового доктора.

— Дорогой мой Джек, в продолжение последних пятнадцати лет я сам наносил раны, и меня ранили. Как же мне не знать, какая рана опасна? Но это и лучше, потому что я знаю, что для моего маленького человечка все кончено, и я предпочитаю умереть с моими гвардейцами, чем жить в изгнании и

быть нищим. Кроме того, союзники, наверно, расстреляли бы меня, и я таким образом избегну этого позора.

— Союзники, сэр, — сказал майор с некоторой досадой, — не сделали бы подобного варварского поступка.

Но де Лиссак покачал головой с той же самой грустной улыбкой.

— Вы этого не знаете, майор, — сказал он. — Неужели же вы думаете, что я убежал бы в Шотландию под чужим именем, если бы мне не угрожала большая опасность, чем моим оставшимся в Париже товарищам? Я хотел жить, потому что был уверен, что мой маленький человечек вернется назад. Теперь же мне лучше умереть, потому что он

уже никогда не поведет за собой армии. Но я совершил такие дела, которые не могут быть забыты. Это я был во главе того отряда, который взял в плен и расстрелял герцога Энгиенского. Это был я... Ах, mon dieu! Эди, Эди, моя возлюбленная! Он протянул вперед обе руки, и при этом все его пальцы дрожали. Затем они тяжело опустились, и его подбородок упал на грудь. Один из наших сержантов бережно положил его на землю, а другой покрыл его большим синим плащом; и в таком виде мы оставили этих двух людей, которых судьба так странно соединила между собой, — шотландца и француза; они лежали молча и

спокойно, очень близко один от другого на пропитанном кровью склоне холма, неподалеку от Гугумона.

Глава XV

Конец моего рассказа

Теперь я подошел к самому концу моего рассказа и очень рад этому, потому что я начал писать мои старые воспоминания с легким сердцем, полагая, что это займет меня в длинные летние вечера, но по мере того, как я подвигался вперед, в моей душе вновь пробудилось много затихшего горя и ожили в памяти наполовину забытые огорчения, а теперь моя душа так загрубела, как

кожа дурно остриженной овцы. Если доведу свой рассказ до конца, то дам клятву никогда не брать пера в руки, потому что сначала это дело кажется легким, но оно похоже на то, когда идешь вброд по реке с неровным дном, и прежде, чем успеешь оглянуться, нога соскользнет и попадешь в яму, из которой приходится выбираться с большим трудом.

Мы похоронили Джима и де Лиссака в одной общей могиле с четырьмястами тридцатью одним солдатом из французской гвардии и нашей легкой пехоты. Ах! Если бы только можно было сеять храбрых людей так, как сеют семена, то

наступило бы такое время, когда у нас был бы урожай героев! Затем мы оставили далеко за собой это кровавое поле битвы и вместе с нашей бригадой перешли французскую границу, направляясь к Парижу.

В течение всех предшествовавших этим событиям лет я привык считать французов очень дурными людьми, и так как мы слышали о них только то, что они дерутся и убивают людей, то, мы, понятно, думали, что они злы от природы и что с ними страшно встречаться. Но ведь и они слышали о нас то же самое, а потому, разумеется, составили себе точно

такое мнение и о нас. Но когда мы проходили по их деревням и увидали их красивые маленькие домики, этих кротких, спокойных людей, которые работали в полях, женщин около большой дороги с вязанием в руках, старую бабушку в огромном белом чепце, которая подхлопывала маленького ребенка для того, чтобы научить его вести себя прилично, — все это так напоминало мне о доме, что я не мог понять, почему мы так долго ненавидели этих добрых людей и боялись их. Но я полагаю, что на самом деле мы ненавидели не их, а того человека, который ими правил, и теперь, когда он удалился, и его большая тень уже не покрывала

земли, ее опять освещало солнце

Мы благополучно прошли по деревне. Это была очень красивая местность, какой мне еще не приходилось видеть до сих пор, и, наконец, подошли к большому городу, причем нам пришло в голову, что может быть тут опять произойдет битва, потому что в нем жило так много людей, что если бы из двадцати человек вышел только один, то из них составила бы прекрасная армия. Но в это время они поняли, что было бы жаль испортить целую страну ради одного только человека, а потому они сказали ему, что теперь он сам должен заботиться о себе. Затем мы услышали, что он сдался

англичанам, и что для нас были отворены ворота Парижа, что было для меня приятным известием, потому что с меня было довольно и одного сражения.

Но в Париже осталось еще много таких людей, которые любили Бони, и это было вполне понятно, потому что он доставил им славу, и он никогда не заставлял свою армию идти туда, куда не пошел бы сам. Скажу вам, что они смотрели на нас сурово, когда мы вошли в город, а мы — солдаты, принадлежавшие к бригаде Адамса, вступили в него прежде других. Мы прошли по мосту, который называется у них Нельи — это слово легче написать, чем

выговорить, пошли прекрасным парком – Bois de Boulogne и дошли до Елисейских Полей. Здесь мы расположились биваком, и вскоре на улицах города появилось так много пруссаков и англичан, что он стал скорее похож на лагерь, чем на город.

Когда я в первый раз получил отпуск, то пошел вместе с Робом Стюартом, моим товарищем по роте – нам позволяли ходить по городу только вдвоем – на улицу Мирамениль. Роб ждал в швейцарской, а меня повели наверх, и едва только я поставил ногу на лежащий у двери ковер, как передо мной появилась кузина Эди, все такая же, какой она была и прежде, и

пристально посмотрела на меня своими странными глазами. В первую минуту она не узнала меня, но, сделав три шага вперед, она бросилась ко мне и обвила своими руками мою шею.

— О, мой дорогой старый друг Джек! — воскликнула она. — Как вы красивы в красном мундире!

— Да, я теперь солдат, Эди, — сказал я очень сухо, потому что, когда я смотрел на ее прекрасное лицо, то мне казалось, что я вижу за ним другое лицо, которое смотрело на небо в то утро, когда я был в Бельгии на поле сражения.

— Скажите, пожалуйста! — воскликнула она. — Кто же вы теперь,

Джек? Генерал? Капитан?

— Нет, я — рядовой солдат.

— Как! Неужели один из тех солдат, которые стреляют из ружей?

— Да, у меня есть ружье.

— О, это совсем неинтересно, — сказала она. И затем она пошла назад к дивану, с которого встала.

Это была чудесная комната — везде шелк и бархат, и все блестело, — мне так и хотелось пойти назад и хорошенько обтереть свои сапоги. Когда Эди опять села, то я увидел, что она была вся в черном, и тут я понял, что она уже слышала о смерти де Лиссака.

— Я очень рад, что вам все известно, — сказал я, потому что я

совсем не умею передавать таких известий. — Он сказал, чтобы вы взяли все, что находится в сундуках, и что ключи от них у Антуана.

— Благодарю вас, Джек, благодарю вас, — отвечала она. — Вы были так добры, что взяли на себя это поручение. Я услышала об этом неделю тому назад. Некоторое время я была совсем безумная, совсем безумная. Я буду носить траур всю жизнь, хотя вы видите, что я в нем настоящее пугало. Ах! Я не перенесу этого. Я пойду в монашенки и умру в монастыре.

— Позвольте вам доложить, сударыня, — сказала горничная, заглядывая в комнату, — вас желает

видеть граф де Бетон, – Дорогой мой Джек, – сказала Эди, вскакивая с дивана, – он пришел по очень важному делу. Я очень жалею о том, что нам не удалось поговорить, но я уверена, что вы опять навестите меня, не правда ли, когда я немножко поуспокоюсь? Ведь, вам все равно выйти черным выходом вместо парадного? Благодарю вас, мой дорогой старый друг Джек; вы были всегда таким хорошим мальчиком и теперь исполнили аккуратно то, о чем вас просили.

И подле этого я уже никогда не видал кузины Эди. Она стояла, облитая солнечным светом; в ее глазах было по-прежнему что-то

вызывающее, а ее зубы сверкали; и такой я буду помнить ее всегда — блестящею и непостоянною, подобно капельке ртути. Когда я сошелся со своим товарищем внизу на улице, то увидал великолепную карету, запряженную парой лошадей, и тут я понял, почему она просила меня уйти от нее незаметным образом: она желала скрыть от своих новых знатных знакомых то, что в детстве у нее были друзья из простонародья. Она даже и не спросила ни о Джиме, ни о моих родителях, которые были так добры к ней. Но ведь у нее был такой характер, и она не могла поступить иначе, все равно, как кролик не может удержаться от того,

чтобы не шевелить своим коротеньким хвостом, и все-таки мне тяжело вспомнить об этом. Через два месяца после моего посещения я услышал, что она вышла замуж за этого самого графа де Бетон, а через год или через два умерла от родов.

Что же касается нас, то наше дело было сделано, потому что эта огромная тень уже не покрывала Европы, она уже не лежала на землях, на мирных фермах и деревушках и не омрачала жизнь людей, которые без этого могли бы жить счастливо. Я вышел в отставку и вернулся в Корримюр, где после смерти отца стал управлять фермой и заниматься разведением овец,

женился на Люси Дин из Бервика и воспитал семь человек детей, которые в настоящее время выше отца ростом и всегда стараются напомнить мне об этом. Но теперь, когда дни идут один за другим тихо и мирно, и все они так похоже один на другой, как шотландские бараны, молодые люди не хотят верить, что и у нас с Джимом был здесь свой роман, когда мы с ним ухаживали за одной и той же девушкой, и когда приехал из-за моря человек с торчащими, как у кошки, усами.